

Глава 3

МОТИВЫ СОЗДАНИЯ ТЕКСТА «ОТВЕТНОЙ РЕЦЕПЦИИ»

3.1. В поисках «своей России»

Взгляд из отечества. Итак, культурно-исторические условия неизбежно накладывали свой отпечаток на русско-французский имагологический диалог. Обрати мы внимание на диалог между *иными* участниками межкультурной коммуникации или сосредоточься на *иной* эпохе и мы, несомненно, обнаружили бы, что сам диалог был бы *иным*, нежели тот, которому посвящен наш разговор. Но будем считать, что этот вопрос закрыт нами в предыдущем разделе. И, думается, теперь мы можем обоснованно объяснить многие особенности «ответа», который создавала русская литература на «французский текст о России». Так, например, нам уже ясно, почему русская литература реагировала в первую очередь на французский текст, а, скажем, не на испанский, финский или какой-нибудь еще; почему французскую критику России было принято объяснять французским национальным тщеславием; почему французский текст о России был в основном общедоступен и общепонятен российскому читателю... и т. д.

Все это, несомненно, и важно, и любопытно, но еще не дает нам возможности постичь в полной мере сущность исследуемого диалога, поскольку мы до сих пор не знаем, что же было его двигателем, что заставляло каждого отдельного автора и русскую литературу вообще вступать в спор по поводу российского имиджа во Франции. А потому нам нужно выяснить причины возникновения и непрерывного функционирования «ответной рецепции» в русской литературе.

По нашим наблюдениям, причины эти имели личный и общий характер и были разнообразны. Но, кажется, все они легко группируются в несколько основных мотивировок, чему свидетельство — предлагаемый в данной главе анализ историко-литературного фактажа.

Прежде всего отметим, что даже гипотетически цель читателя, обратившегося к «французскому тексту о России», может быть

двойкой: либо он желает расширить свои представления о родине, взглянув на нее через призму французского восприятия; либо стремится оценить «французский текст о России» с позиций собственных, уже сложившихся представлений о России. Из этого можно вывести ту закономерность, что в первом случае читатель должен относиться к французскому тексту с полным доверием и на его основе модифицировать собственные представления о России, а во втором случае — читатель должен противиться любому отклонению французского текста от его собственного (читательского) видения России. Отвлеченно рассуждая, эта формула окончательно верна. Но если воспринимать ее в реальном контексте, то окажется, что в каждом отдельном случае она нуждается во множестве поправок. Так, почти любой российский литератор, обратившись к французскому тексту за объективной информацией о России, относился с доверием далеко не ко всему тексту, а лишь к определенным его фрагментам, тогда как с другими фрагментами он мог ожесточенно спорить. И обратно: многие авторы, настроенные предубежденно-критически рассматривать французские суждения о России, неожиданно часть этих суждений (даже враждебных для России) принимали на веру. Воспринимать подобные случаи в качестве простых исключений мы не можем, поскольку их количество доходит до критических пределов, когда сама закономерность начинает терять смысл.

Поэтому выберем иной путь и не станем подтверждать фактами умозрительные предположения, а наоборот, обобщим имеющийся у нас реальный литературный материал, на основании чего и будем строить дальнейшие выводы.

Мы уже обращались к той сфере, где «французский текст о России» изначально был востребован как источник объективной информации, то есть — к историческим исследованиям интересующей нас эпохи. Мы выяснили, как помним, что эти исследования были неотделимы от литературной жизни России и имели самое прямое влияние на русско-французский имагологический диалог. Но сделаем оговорку: научный интерес к иностранным источникам по истории России (даже если его проявляет не историк, а литератор) имеет свою специфику. Ведь речь идет, как правило, об историческом прошлом, а потому исследователь или просто читатель сознает, что и автор «французского текста о России» XVI или XVII в. отличался от современных ему французов, и сама Россия той поры (Россия историческая) отличается от

России нынешней. С позиций больших временных дистанций спорить трудно: нужна специальная подготовка, нужны сведения о старинном французском авторе и нужно достаточно четко представлять себе старую Россию, чтобы вступать в спор с мнением иностранца, видевшего ее своими глазами.

Иное дело тексты современные. Почти всякий российский читатель обоснованно был уверен, что знает Россию лучше француза или другого иностранца, лишь мельком осмотревшего страну. Априори и нам кажется, что это так, на самом деле — было не совсем так. Характерный эпизод из повести И. И. Панаева «Белая горячка» (1840). Молодой российский живописец Средневский приезжает из Петербурга в Москву, где все его удивляет, и вот как он описывает город: «<...> В Москве есть невиданные дивы: кареты и коляски, ровесники Ноеву ковчегу, издающие страшный свист, скрип и брянчание, да еще казачки сзади этих полуковчегов, а у казачков на головах шапки в виде пополам разрезанной дыни, красные суконные, с золотыми и серебряными шнурочками и с кистью на маковке. Это очень мило!» [398, с. 51]. Если мы сравним этот отзыв с французскими описаниями Москвы, то заметим, что герой Панаева, как и французы, воспринимает старинную столицу с позиций стороннего наблюдателя. И ситуация эта была довольно типичной. В 1845 г. Белинский поместил в первой части сборника «Физиология Петербурга» очерк «Петербург и Москва», где четко определил этот феномен. «Для русского, который родился и жил безвыездно в Петербурге, — подмечал Белинский, — Москва так же точно изумительна, как и для иностранца» [56, т. 2, с. 768].

Незнание некоторыми русскими России и даже невнимание к ней удивляло и оскорбляло патриотическое чувство. В январе 1828 г. А. И. Тургенев, наблюдая в Париже жизнь «русских парижан», общал брату о своем посещении салона Св...ной¹: «<...> Нас было 7 русских с нею, и каждый толковал о французских министрах, не вспомнив, что у нас еще не сменены ни Гермеполис-Шишков, ни Сорбиёгес-Ланской: так атмосфера, в которой живешь, заразительна!» [515, с. 331]. Французская жизнь и европейские новости зачастую больше волновали российское образованное общество, нежели российские реалии. Да и путешествия по Европе были для рус-

¹ Видимо, С. П. Свечиной.

ских туристов не в пример занимательнее и популярнее, нежели вояжи по бескрайнему отечеству. Все это отдаляло от реальной России, а потому П. А. Вяземский в 1841 г. сурово нападал на подобный «европеизм» в стихотворении «Русские проселки»:

*Скажите, знаете ль, честные господа,
Что значит русскими проселками езда?
Вам сплошь Европа вся из края в край знакома:
В Париже, в Лондоне и в Вене вы, как дома.*

<...>

*Россию знаете по Невскому проспекту
Да по симбирскому бурмистру, в верный срок
К вам привозящему ваш годовой оброк.*

<...>

*Нет, вызвал бы я вас на русские проселки,
Чтоб о людском житье прочистить ваши толки*
[114, с. 272–273].

В 1844 г. П. А. Вяземский фиксировал в записной книжке отзыв вернувшегося из-за границы Ф. И. Тютчева, который утверждал, что обнаружил «отсутствие России в России». «За границей всякий серьезный спор, — замечал Тютчев, — политические дебаты и вопросы о будущем неминуемо приводят к вопросу о России. О ней говорят беспрестанно, ее видят всюду. Приехав в Россию, вы ее больше не видите. Она совершенно исчезает с горизонта» [111, с. 232].

Упреки Вяземского и Тютчева могли относиться не только к российскому бомонду, избалованному европейскими поездками. Даже люди, вовсе не бывавшие за границей, посвятившие себя трудам на российском поприще, в основном сосредоточивались в столицах и были оторваны от провинциальной жизни. Остальная Россия превращалась в художественную условность. К. Аксаков вспоминал о литературе 1830-х гг.: «Любовь к России высказывалась беспрестанно: мой край родной, мой Север дальний, мои выюги, мои метели и т. д. — слышались очень часто. Но это была та удобная любовь, которая не мешала быть вовсе чуждым своей родной земле: хвалили большей частью выюгу и мороз, да и то в теплом климате» [248, с. 158].

Досаду вызывало не только незнание России, но — желание судить о реальной России без четкого представления о ней. Когда Лермонтов выводил в «Княгине Лиговской» галерею светских портретов, он весьма иронично останавливался на характерных персо-

нажах: «Тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское, и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове» [279, т. 4, с. 166].

Впрочем, мнение «доморощенных дипломатов» само по себе не могло же всерьез занимать русскую литературу. В конце концов, светские разговоры не часто выходили за пределы богатых гостиных и влияли на жизнь страны. Но в том-то и дело, что о России судили не только на раутах и балах. О ее настоящем и будущем говорили в университетских аудиториях и литературных салонах, в журнальных статьях и застольных тостах, в кабинетах высших чиновников и квартирах разnochинцев. Одни доказывали, что счастье страны обеспечит официально признанное триединство «Православие, самодержавие и народность», другие убеждали, что секрет российского благополучия — в усвоении жизненных норм Запада, иные призывали вернуться к исконно русским социальным и культурным истокам. Разгорались жаркие литературные и публицистические споры. В них вмешивались цензура, вездесущее III Отделение, а нередко и сам государь. Все судили о том, какой должна быть Россия, но зачастую споры наталкивались на незнание того, какова же она есть — эта Россия. «Вы, *messieurs*, не знаете России, живши в ее центре, — писал А. И. Герцен из ссылки Н. Х. Кетчеру, — я узнал многое об ней, живучи в Вятке. Большая часть ваших сентиментальных мыслей основаны на книгах <...>» [127, т. 9, с. 275]. Подобный упрек Герцен адресовал позднее Н. И. Сазонову и другим русским, долго жившим в Париже. «Без правильных сообщений, без русских книг и журналов, — писал он в “Былом и думах”, — они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали» [127, т. 5, с. 585].

Н. И. Сазонов жил на Западе, а Н. Х. Кетчер был идеологическим сторонником Запада. Что же удивительного, если они не знали России? Может быть, Россию хорошо знал сам Герцен, в Западе сильно разочаровавшийся? Кажется, бывший друг Герцена Т. Н. Грановский в этом сомневался. За два дня до смерти, 2 октября 1854 г., он писал К. Д. Кавелину об издательской деятельности Герцена: «Для издания таких мелочей не стоило заводить типографии. Сотрудники у него настоящие ослы, не знающие ни России, ни русского языка. <...> И что за охота пришла

человеку разыгрывать перед Европою роль московского славянофила, клеветать на Петра Великого и уверять французских *refugiés* в существовании сильной либеральной партии в России» [45, кн. 14, с. 182]. Но знал ли Россию сам Грановский?

Может быть, Россию знали славянофилы?

Пожалуй, некоторые из них знали ее значительно лучше других литераторов. Ведь книги С. Т. Аксакова действительно стали откровением, своего рода открытием России для русского читателя. Но из этого нельзя вывести правила. Поскольку не меньшим открытием реальной России стали и «Записки охотника», принадлежавшие убежденному западнику, прозванному в России *Jean de Paris*³ [141, с. 661]. Зато произведения близкого к славянофилам эксцентричного патриота М. Н. Загоскина почти единодушно признавались псевдонациональными. Так что даже С. Т. Аксаков, дружески относившийся к Загоскину, наконец отметил его незнание отечества. «<...> Миллион раз будет рассказывать мне, — писал в конце 1840-х гг. Сергей Тимофеевич о Загоскине, — что он, как свои пять пальцев, знает Россию, тогда как он, русский по натуре, знает ее менее любого иностранца» [298, с. 356].

Декларативные заявления о необходимости изучать Россию звучали настолько часто, что весьма скоро перестали пользоваться доверием и начали вызывать ироническое отношение. Вот сатирический портрет новоявленного славянофила Ивана Васильевича из соллогубовского «Тарантаса»: «Ревностный отчизнолюбец, он желал <...> отодвинуть снова свою родину в допетровскую старину <...>. Ему это казалось совершенно возможным, во-первых, потому, что несколько приятелей его были одинакового с ним мнения; во-вторых, потому, что он России не знал вовсе» [493, с. 256]. Впрочем, Иван Васильевич и сам признавал, что России он не знает, и, более того, изъявлял искреннее желание Россию изучить. Где же здесь, спрашивается, повод для сатиры? А повод — не в желании, а в манере Ивана Васильевича изучать Россию.

Прежде всего, как помним, сам интерес к России возник у него из соображений чисто теоретических. Он обнаружил внимание к России «заграницы», на этом основании проникся любовью к родине и решил, что обязан узнать ее получше. Но как интерес его

² Изгнанник.

³ Парижский Жан, или Парижский Иван.

зародился за границей, так и позиция его по отношению к России осталась иностранной, сторонней. Потому-то его страстное, но теоретическое желание изучать родину не встречает понимания у попутчика и собеседника — Василия Ивановича, который всю жизнь провел в России и «изучал» ее по необходимости и по практическим соображениям, хотя специально такой целью никогда не задавался, да и не смог бы ее сформулировать. «Мне совестно было шататься по белу свету, не зная своего отечества», — делился с Василием Ивановичем влюбленный в Россию идеальный любовью славянофил. «Как! Неужели ты своего отечества не знаешь?» — поражался в ответ не знакомый с абстрактными теориями старый помещик [493, с. 258].

Интерес Ивана Васильевича к России — отвлеченный, а потому и его наблюдения поверхностны и схематичны. «Посмотрите-ка на русского мужика: что может быть его красивее и живописнее?» — восторженно подмечает Иван Васильевич. «Хитрые бывают бестии!» — отвечает «приземленный» Василий Иванович [493, с. 243]. Типичная сцена: «Иван Васильевич отправился на село немного пошататься, да, кстати, поискать и народности» [493, с. 337]. Таков в сатирическом освещении западника путь идеалистов-славянофилов — взгляд не вполне отвечающий истине, но и не совсем далекий от нее.

Нам стоит остановиться на том, что знающих Россию людей в российском обществе было немного. Конечно, «знать» или «не знать» Россию — формулировки весьма отвлеченные. Кто же способен определить, достаточны ли знания человека о стране и каков критерий знания? В любом случае, понятно, что полными знаниями о стране не может обладать никто. Речь и не идет об этом. Имеется в виду существование в русском обществе стабильного, основанного на реальности, разнопланового представления о России. А с уверенностью можно сказать, что такого общепризнанного представления в ту пору не существовало. Фигурировали его версии, предлагаемые разными партиями и разными авторами. Субъективность многих авторских представлений о России отчетливо ощущал, скажем, Л. Н. Толстой. Уже в 1861 г. он замечал в письме к А. И. Герцену: «Вы говорите, что я не знаю России. Нет, знаю свою субъективную Россию, глядя на нее с своей призмочки» [580, т. 2, с. 135].

Первая половина XIX в. стала периодом поиска и формирования общенационального представления о России. И все участво-

вавшие в этом процессе стороны более или менее сознавали, что для выработки подобного представления не достаточно лишь выдвигать его версии. Российскому обществу не хватало объективной, точной информации о России, не хватало знаний, приобретенных на основании фактографического описания страны и ее истории. И чем глубже эта мысль осознавалась русским обществом, тем шире становились масштабы изучения России — русскими разных партий и общественных уровней.

Даже государственная машина, сколь бы неповоротливой она ни была, все устойчивее тяготела к научному освоению России. Правительство проявляло интерес к статистическому исследованию страны. Для изучения провинций даже нанимались иностранные специалисты, как, скажем, французский горный инженер Ксавье Омер де Гелль, пожалованный в 1839 г. орденом Владимира за открытие железных руд на Днепре [427, с. 768]. А когда в 1837 и 1839 гг. А. И. Тургенев представил на рассмотрение государю иностранные документы об истории России, Николай I дал распоряжение Археографической комиссии опубликовать их прежде всех прочих материалов [17, т. 1, с. VII].

Исследовательская инициатива шла, что называется, «снизу». Поиск фактического материала о России, ее истории и культуре занял прочное место среди интеллектуальных увлечений российского общества той поры. Языков и братья Киреевские скрупулезно собирали народные песни. Чиновник Д. М. Княжевич составлял первый в своем роде сборник русских пословиц и поговорок [386]. Примеры можно продолжать бесконечно, поскольку редко кто из литераторов не интересовался российским фольклором, археологией, археографией и т. п.

Сама литература стремительно меняла свой профиль, чутко реагируя на общественный запрос. Романтические условности в описаниях местного колорита, обращение к экзотическим странам вытеснялись интересом к России и точным описанием ее реалий. Абсолютизируя точность изображения, писатели натуральной школы создавали почти фотографические портреты российских людей и сцены российской жизни. Причем точное изображение действительности было не просто интуитивным стремлением, а осознанной программой новой литературной школы. В 1845 г. появилась первая часть сборника «Физиология Петербурга», во вступлении к нему, написанном Белинским, читатель знакомился с обоснованием этой программы. «<...> У нас совсем

нет беллетристических произведений, — замечал Белинский, — которые бы, в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний, знакомили с различными частями беспредельной и разнообразной России <...>. А сколько материалов представляет собою для сочинений такого рода огромная Россия! Великороссия, Малороссия, Белороссия, Новороссия, Финляндия, остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь — все это целые миры, оригинальные по климату и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно, по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов <...>! Переезд из Архангельска в Астрахань, <...> из Финляндии в Крым — все равно, что переезды из одного мира в другой» [56, т. 2, с. 755].

Ясно, что основным источником знаний о реальной, современной России были личные наблюдения. Но ясно и другое: изучение России предоставляло настолько обширное и многообразное исследовательское поле, что трудами и мнениями иностранных ученых и литераторов пренебрегать не стоило. Потому к трудам иностранных исследователей, как правило, относились с доверием и уважением. Один из множества примеров: А. Демидов в описании своего путешествия по Южной России не раз ссылаясь на познания иностранца Ш. Монтандона. «Нас посетил господин Монтандон, — сообщал Демидов⁴ о своем пребывании в Симферополе, — автор полезной книги «Guide du voyageur en Crimée»; он родом из Швейцарии и, поселясь в Крыму, кажется, основательно изучил этот полуостров; суждения его весьма добросовестны. Мы много воспользовались ими для объяснения некоторых предметов нашего наблюдения; даже и некоторые мнения, принятые уже публикою, должны измениться» [441, № 4, с. 221].

Впрочем, зарубежные исследователи не всегда оправдывали ожидания. В 1825 г. издатель «Отечественных записок» П. Свинын поместил в журнале свое письмо к редактору, где сообщал о некоем г-не Филистри, чья «заботливость о распространении просвещения в России» простиралась до того, что он «приехал в самую Сибирь для введения своих исторических таблиц в общее употребление». О качестве таблиц можно судить из дальнейшего рассказа Свинына: «Посудите, в какое заблуждение могут внес-

⁴ Впрочем, над текстом демидовского путешествия трудилось несколько авторов. Но кому бы из них ни принадлежала эта цитата, существо вопроса не меняется.

ти ребенка следующие и подобные показания г. Филистри, не утвержденные никакою основательною ссылкой <...>, например, что славяне суть потомки мидян, что санскритский язык имеет такое соотношение с славянским, как славянский с русским, что татары покорили Россию в 1287 году и проч. и проч. В таблицах происшествий, в предварительных исторических замечаниях, в исчислении эпох и изобретений — царствует искусственный беспорядок, вавилонское смешение истин — с небылицами, важного — с ничтожным, а сие последнее особенно замечается, когда можно выказать услугу или труды какого-нибудь иностранца... Впрочем, Левек, Леклерк, Шантро и т. п. потеряли свою оригинальность, помрачены глубокомыслием и сведениями г. Филистри в российской истории» [107, с. 290–292].

Взгляд «из прекрасного далека». Об исторических спорах с иностранными авторами мы уже говорили довольно. Теперь же обратимся к такому моменту: подобно тому, как российская наука, подвергая проверке, искала в иностранных источниках объективные знания о прошлом России, о ее естественной истории, так и русская литература обращалась к сочинениям иностранцев, чтобы пополнить багаж представлений о России, расширить диапазон мнений при осмыслении ее жизни.

В таких условиях позиция *чужого*, постороннего наблюдателя уже сама по себе могла представляться продуктивной. Н. Н. Скотов полагает, что «Пушкину для того, чтобы начать создавать обобщенный, “эпический” образ России» в «Повестях Белкина», «следовало из нее уехать». «Пушкин и уехал, — развивает парадоксальную мысль ученый, — правда, особым образом. В глухом русском Болдине он, художественно воссоздавая целый западный мир, так сказать, строит европейский дом и поселяется в нем» [479, с. 228]. Невзирая на всю метафоричность этой гипотезы, несмотря на ее натянутость применительно к А. С. Пушкину, возникла она, думается, на основе реальных черт русской литературной жизни.

Во-первых, Пушкин, как и значительная часть русских литераторов, имевший, что называется, европейское образование, конечно, мог смотреть на Россию как европеец. С. А. Фомичев, отмечая, что среди эпиграфов, предпосланных к главам «Евгения Онегина», семь были иностранными, делает вывод, что «русскую жизнь Пушкин преимущественно оценивал взглядом европейца» [538, с. 52]. А во-вторых, русские литераторы действительно порою стремились удалиться из России, дабы, увидев ее со сторо-

ны, уточнить и упорядочить собственные представления о ней. Наиболее яркий пример тому — судьба Н. В. Гоголя.

Весной 1836 г. Гоголь собирался в Европу и писал М. П. Погодину: «Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне» [134, т. 8, с. 100]. Это — не следствие настроения, это — творческая позиция Гоголя, которая со временем укрепилась, но пока проходила проверку. В ноябре он делился с В. А. Жуковским: «Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу “Мертвые души” в Париже» [134, т. 8, с. 116]. Через несколько лет, когда “Мертвые души” готовились к выходу в свет, Гоголь был уже совершенно убежден в правильности своей позиции — смотреть на Россию издалека. «<...> В самой природе моей, — писал он П. А. Плетневу 17 марта 1842 г., — заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей громаде» [134, т. 8, с. 173]. Эта творческая установка могла вызывать удивление, но, учитывая огромный успех «Мертвых душ», ее вполне поддержал В. Г. Белинский. Защищая поэму от нападок в российской прессе, он заявил в «Отечественных записках» (1842), что Гоголь, «не читая русских журналов, спокойно живет себе в Риме, где была написана им первая часть «Мертвых душ» и где, вероятно, будет написано им еще не одно творение, долженствующее привести многих сочинителей в совершенное отчаяние» [56, т. 2, с. 302]. Картина получалась идеалистическая: живет себе русский писатель за границей, общается с европейской культурной элитой и пишет о России лучше, чем авторы, весь век в России проводившие. А иностранцы переводят его произведения на французский язык и узнают из них о российской жизни и об уровне русской литературы — это в заслугу Гоголю Белинский ставил неоднократно.

Но вот в 1846 г. в России вышло второе издание «Мертвых душ», предисловие к которому, написанное изменившимся Гоголем, потрясло Белинского. В № 1 «Современника», анонсируя издание поэмы, Белинский цитировал слова Гоголя: «В книге этой многое написано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог знать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать и сотую долю того, что делается в нашей земле». Далее Гоголь просил российских читателей отсылать ему поправки к «Мертвым душам», видимо, желая с помощью этих замечаний исправить поэму и приблизить ее к реальной картине рос-

сийской жизни. Раздраженный нелепостью подобного хода, Белинский возмущался: «Не лучше ли им всем пуститься за границу для личного свидания с автором <...> Оно, конечно, эта поездка обойдется им дороговато, зато какие же результаты выйдут из этого!.. К чему весь этот фарс?» [56, т. 3, с. 686]

Не успели высохнуть чернила этого возмущенного отзыва, как в свет вышли «Выбранные места» — по выражению Белинского, «едва ли не самая странная <...> книга, какая когда-либо появлялась на русском языке» [56, т. 3, с. 686]. Во второй же книжке «Современника» критик ответил на это издание статьей, основная мысль которой — несообразность гоголевских суждений с российской действительностью. Причем анализ текста в статье был сведен до минимума: Белинскому было достаточно лишь процитировать обширные периоды текста, чтобы для читателя стала очевидной отвлеченность гоголевского взгляда.

Белинский не брался объяснять причины гоголевского «превращения». Вся статья носит отпечаток недоумения и шока. Но в одном случае Белинский все же бросил фразу, которая могла многое объяснять. Восстав против гоголевского мнения о ненужности просвещения для простого народа, Белинский восклицал: «<...> Если бы захотел пожить он (Гоголь. — В. О.) в той России, которую так расхваливает, живя в разных немецких землях, и приглядеться к нашему простому народу, о котором он судит так решительно, не зная его, — он убедился бы, что <...> быстрые успехи в деле распространения грамотности в простом народе основаны именно на глубокой потребности, какую чувствует народ к грамотности <...>» [56, т. 3, с. 698]. Итак, Белинский упрекает Гоголя в незнании России, в его претензии судить о ней из-за границы. То есть в том, за что еще недавно поощрял автора «Мертвых душ». В знаменитом письме к Гоголю он более четко сформулировал этот упрек: «<...> Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек <...>. И это <...> потому, что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть, потому, что в этом прекрасном далеке вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного <...>» [56, т. 3, с. 708]. Приведенный отрывок находится почти в самом начале письма и выглядит как объяснение причины гоголевских заблуждений. Характерно, что

это положение стало, по сути, единственным, с которым согласился Гоголь. «<...> Мне показалось только то непреложной истиной, — отвечал он Белинскому, — что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнать все то, что ни есть в ней теперь» [134, т. 8, с. 279]. Это было признанием своей принципиальной ошибки — смотреть на Россию со стороны. И заметим, что путь к этому признанию был для Гоголя более долгим, драматичным и трагическим, нежели частная уступка в частной полемике. Попытаемся восстановить его в общих чертах.

Для этого вернемся к драматическому пассажиру «Театральный разъезд...», начатому в 1836 г., но опубликованному лишь в 1842. Среди множества персонажей выделим «Очень скромно одетого человека», который представляет собой тип честного провинциального чиновника. Что и говорить, типаж редкий. А потому после знакомства с ним некий «Господин А.», занимающий, по указанию Гоголя, «значительную государственную должность», восклицал: «Да хранит тебя бог, наша мало известная нами Россия! В глуши, в забытом углу своем, скрывается подобный перл, и, вероятно, он не один» [134, т. 4, с. 238]. Думается, эта фраза вполне передавала умонастроение автора. Но, как помним, в этот период, с 1836 по 1842 г., он был увлечен тою мыслью, что писать о России он способен, только находясь вне России. Возникало неизбежное противоречие: Гоголя интересовало, сколько же «подобных перлов» скрывается на родине, он искал позитивное начало в российской жизни, но продолжал жить за границей, лишая себя возможности наблюдать российскую жизнь.

Пока шла работа над первым томом «Мертвых душ», это противоречие не слишком тревожило. Видимо, прежние наблюдения и память предоставляли достаточный материал для книги. Когда же дело дошло до второго тома, где Россия должна была предстать в иной ипостаси, потребовались новые наблюдения за современной и уже изменившейся Россией — но Гоголь продолжал оставаться за рубежом. «Выбранные места» отражают его размышления того периода, а потому остановимся на некоторых моментах этой книги.

Заметно, что нападки критиков на «Мертвые души» сильно ранили Гоголя. Причем среди наиболее болезненных ударов, кажется, были упреки в незнании России. Во всяком случае, в «Выбранных местах» Гоголь поместил свои письма по поводу

«Мертвых душ», в первом из которых, датированном 1843 г., оправдывался именно в этом незнании. «Нечего таить греха, — признавался он, — все мы очень плохо знаем Россию». «И хоть бы одна живая душа заговорила во всеуслышанье! — продолжал он рассуждение. — Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души. И меня же упрекают в плохом знанье России! Как будто непременно силой святого духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, — без наученья научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званием писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной, и притом еще принужденный жить вдали от России» [134, т. 7, с. 254–255]. Уже в этом письме Гоголь высказал то пожелание, которое через три года так поразило Белинского: присылать из России поправки к «Мертвым душам».

Но, видимо, подобный выход из положения самому Гоголю представлялся не вполне реальным. В письме к гр. А. П. Толстому (1845) он убежденно советовал: «Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. <...> Сделайте ваше путешествие вот каким образом: прежде всего выбросьте из вашей головы все до одного ваши мнения о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать. Представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую, дотоле вам неизвестную землю» [134, т. 7, с. 271]. Из этого может следовать лишь одно: Гоголь пытался примирить свою позицию стороннего наблюдателя российской жизни с необходимостью ее исследования. Потому он и советует путешественнику по России взять на себя роль иностранца.

Но не проще ли путешествовать по России так, как по ней во все времена путешествовали русские люди? Почему бы, спрашивается, Гоголю, наконец, не отказаться от идеи смотреть на Россию *чужими* глазами? Из простого каприза? Из-за невозможности вернуться на родину?

Не должно быть. Слишком последовательно он обращался к этой проблеме, чтобы подчинить ее решение порывам настроения. Да и в Россию он приезжал, но только снова покидал ее по собственному желанию. Объяснение следует искать в другом: Гоголь не доверял отечественным представлениям о России. В «Выбранных местах» он замечал: «Общество наше <...> воспи-

тывалось в неведении земли своей посреди земли своей» [134, т. 7, с. 276]. В записках, изданных Шевыревым под названием «Авторская исповедь», Гоголь признавался: «Два раза я <...> возвращался в Россию. <...> Но, странное дело, среди России я почти не увидал России <...>. Я заметил, что почти у всякого образовалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. <...> Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое <...>. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой, желание знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна» [134, т. 7, с. 449–450].

Собственно, речь идет о том, что Гоголь находил в России не общепринятое представление о стране, а лишь множество партийных и индивидуальных версий этого представления. Между тем, стремясь к «эпическому», всестороннему видению России, он не желал и не мог останавливаться на этих многочисленных, порою шатких и спорных версиях. Как и все российское общество, он искал некий объективный инвариант — цельный образ России. Кто-то искал его в ходе журнальных полемик, кто-то — в общении с простонародьем и природой, кто-то — в исторических аналогиях, кто-то — мало ли еще в чем... Гоголю казалось, что он сможет обрести верное представление о родине вдали от нее, приняв на себя роль иностранного наблюдателя...

Этот путь вел к противоречию, но Гоголь продолжал по нему идти, хотя ощущал, что взгляд «русского иностранца» столь же мало открывает в России, сколько и отечественные стереотипные мнения о ней. Потому и писал он в «Выбранных местах»: «Скорбью ангела загорится наша поэзия и <...> вызовет нам нашу Россию — нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же <...>» [134, т. 7, с. 383]. Что означает «ту, которую извлечет она из нас же»? Вряд ли сам Гоголь смог бы пояснить эту фразу. Думается, она означала, что в российском обществе со временем все же сформируется свое, истинное представление о России. Гоголь, как и все в России, не мог ответить, ни когда оно сформируется, ни каким оно будет.

Но он продолжал строить собственную версию этого представления и проверять правильность собственного пути к нему. В том

и в другом случае его ожидало разочарование. Позиция *чужого* наблюдателя лишала его знаний о реальной России, а следствием этого была невозможность творчества. В «Выбранных местах» есть рассуждение о необходимости защищать православную церковь от иностранной клеветы. «Чтобы защищать ее, — писал Гоголь, — нужно самому прежде узнать ее. Все мы вообще плохо знаем нашу церковь» [134, т. 7, с. 211]. Логика этой мысли вполне приложима к положению, в каком оказался Гоголь в отношении к России. Он чувствовал необходимость изображать и защищать ее, но для этого нужно было знать Россию, а заграничная жизнь Гоголя лишала его этой возможности.

Он все же решился обнародовать свою версию представления о России в книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Но эта версия оказалось слишком далекой от реальности. Гоголь осознал это. Осознал и причину этого — незнание России. И принял решение, о котором сообщал Белинскому и которое свидетельствовало об отказе от позиции *чужого* наблюдателя. «Вывод из всего этого вывел я для себя тот, — писал Гоголь в ответ на известное письмо критика, — что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья, по тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками». В то же время Гоголь не желал принимать на веру и представление Белинского, и вообще представление кого бы то ни было, поскольку дальше писал: «Вижу, что укорявшие меня в незнании многих вещей и несоображении многих сторон обнаружили передо мной собственное незнание и собственное несоображение многих сторон» [134, т. 8. с. 279]. Все это означало, что Гоголь решился идти по новому пути постижения России, строить заново свое представление о ней. Сил для этого пути у него уже не было.

Возвращаясь к А. С. Пушкину, мы бы выразили сомнение в том, что он стремился покинуть Россию, дабы иметь возможность создать ее «эпический» образ. Поэт действительно желал выехать в Европу, но вовсе по иным побуждениям, о которых уже сказано в своем месте. Его сельское уединение вряд ли стоит отождествлять с продуманной позицией стороннего наблюдателя России. Биография Пушкина убеждает, скорее, в обратном: ему было присуще стремление находиться в гуще общественных и литературных событий России, его тяготило долгое одиночество

и вынужденная изоляция от близких по духу людей, да и взгляд Пушкина на предметы российской действительности был реалистически конкретным и не требовал перемены национального пространства для умозрительной их систематизации. Он серьезно относился к мнению о России иностранцев, сознавал его принципиальное отличие от суждений соотечественников, видел необходимость учитывать иностранное мнение при осмыслении российской жизни, но, сколько мы можем судить, сам не стремился смотреть на Россию глазами стороннего зрителя.

Но завершим разговор о том, как Белинский в 1842 г. ставил в заслугу Гоголю его заграничный «взгляд на Россию», а в 1847 — то же самое ставил ему в упрек. Не стоит приписывать это противоречие импульсивной непоследовательности критика. Во-первых, успех «Мертвых душ» на каком-то этапе действительно оправдывал порыв Гоголя писать о России за границей, а провал «Выбранных мест» — ее дискредитировал. А во-вторых, изменение позиции Белинского не было сиюминутным и, думается, объяснялось фактами современной литературной жизни.

В 1845 г. В. А. Соллогуб опубликовал повесть «Тарантас», где изящно пародировал славянофильское отношение к России. Сосредоточим внимание на нескольких деталях. Герой повести Иван Васильевич путешествовал по Европе и там проникся интересом к России. Этот факт Соллогуб представил как характерную черту поколения. «Теперь молодежь наша прикидывается глубоко-мысленною, — констатировал автор, — <...> заботится о русской аристократии, хлопочет о государственном благе, и — как бы вы думали? — за границей делается она русскою, даже чересчур русскою, думает только о России, о величии России, о недостатках России и возвращается на родину с каким-то странным восторгом, иногда смешным и неуместным <...>» [493, с. 232]. Любовь к родине естественным образом должна была вызвать у Ивана Васильевича и интерес к ней, желание узнать ее получше. Так и произошло, но приведем описание того, каким образом этот интерес к России реализовывался в сознании жившего за границей Ивана Васильевича. «Он начал припоминать, — поясняет Соллогуб, — все виденное и не замеченное им в деревне, в поездках по губерниям, во время откомандировок по службе. Он хотя и чувствовал, что все эти данные не составляют общего мнения, общего целого, но некоторые черты удержал он довольно верно, а остальные дополнил своим воображением. Так

составил он себе особое понятие о чиновниках, о русской торговле, о нашем образовании, о нашей словесности. Тогда решился он изучить свою родину основательно <...>» [493, с. 334]. С этим-то намерением он и пустился в путешествие по России на знамени-том тарантасе и с путевым журналом в руках.

Сатирический эффект дальнейшего повествования основан на несоответствии между выдуманным Иваном Васильевичем за границей образом России и Россией реальной. Все интересы Ивана Васильевича обусловлены его заграничными мечтами, все суждения о настоящей России поверхностны. В противоположность молодому «отчизнолюбцу», недалекий, но знающий Россию по собственным впечатлениям Василий Иванович выглядит в этом отношении не в пример мудрее и дельнее. Вот, скажем, встречаются Ивану Васильевичу вполне реальные российские купцы и начинает он их поучать с видом если не пророка, то, по крайней мере, мыслителя. Нечего и говорить, что поучение это не могло иметь никакого практического применения. Остановимся на том, как Соллогуб объяснял поведение своего героя. «Занимаясь за границей судьбами России, — рассказывает автор, — он, разумеется, не забыл торговли <...>. Только за неимением сведений, он составил себе о русском торговом направлении какое-то утопическое понятие, не совсем сходное с действительностью, не совсем сообразное с возможностью. И тут, как всегда, в порыве беспокойного воображения он иногда приближался к истине, иногда увлекался чересчур за истину, а иногда от незнания и от необдуманности давал решительные промахи» [493, с. 309]. Заметим при этом одну деталь, которая нам весьма пригодится в разговоре о Белинском: Соллогуб полагает причину ошибочных суждений Ивана Васильевича не столько в его личных качествах, сколько в позиции иностранного зрителя, к которой Иван Васильевич привык еще со времен обучения у французского гувернера. Именно эта *чужая* позиция мешает Ивану Васильевичу узнать Россию.

Он, как и Гоголь, как и многие другие, горячо признает, что Россию изучать необходимо. Сев за журнал путевых впечатлений, он размышляет: «Поневоле полюбил я тогда (во время европейского путешествия. — *В. О.*) Россию и решился посвятить остаток дней на познание своей родины. <...> Только теперь вот вопрос: как ее узнаешь? Хватился я сперва за древности — древностей нет; думал изучить губернские общества — губернских обществ нет. Все они, как говорят, формальные. Столичная

жизнь — жизнь не русская, а перенявшая у Европы и мелочное образование, и крупные пороки. Где же искать Россию?» [493, с. 271] Коренной русский помещик Василий Иванович не мог бы задаться подобным вопросом: он изучает Россию по мере необходимости и в том направлении, которого требует сама же российская жизнь. Выросший на европейских представлениях Иван Васильевич, не знает, в чем эти необходимости и каковы требования российской жизни. Отсюда и беспомощность в изучении России.

Белинский откликнулся на выход соллогубовского «Тарантаса» быстро и похвально. В специальной статье он виртуозно заострил сатирическое звучание повести. Но что любопытно: заблуждения Ивана Васильевича критик приписал не зарубежному воспитанию, а свойствам натуры Ивана Васильевича. «У него голова устроена решительно вверх ногами» [56, т. 2, с. 844], — объяснил его суждения Белинский. Пагубное воздействие иностранного взгляда на Россию критик отверг. По его мнению, «люди бывают всякие: одни, побывав за границей, делаются еще хуже <...>, а другие переменяются к лучшему и начинают уважать человеческое достоинство даже и в своем собственном лакее...» [56, т. 2, с. 848]. Эта формула была высказана в связи с характеристикой другого персонажа повести — русского князя, научившегося за границей презирать русское простонародье. Но она с тем же успехом должна была быть применима и к Ивану Васильевичу. Тем более что перед этим Белинский объяснил «претензии» Ивана Васильевича к Парижу недостатками характера самого же Ивана Васильевича [56, т. 2, с. 828].

Выходило так, что Белинский искажал авторскую трактовку личности Ивана Васильевича. Причем искажал ее не вполне выгодным для себя образом, поскольку из его толкования следовало, что ошибки Ивана Васильевича были не принципиальны, а происходили от слабости характера и ума. Но при таком толковании образ Ивана Васильевича сильно терял обобщающее значение. В самом деле, стоит ли удивляться нелепостям слабоумного человека? Нельзя же воспринимать его суждения как нечто типичное, значимое и достойное обсуждения. Получалась искусственная диспропорция, которую Белинский не мог не чувствовать, но которую он все же допустил. Почему? Потому что Белинский, по долгу западника, не мог допустить «косых взглядов на Париж»? Отчасти, может быть, и так. Но, кажется, был у Белинского и еще один повод для этого.

Он не мог не заметить, что повесть Соллогуба задевала не только славянофилов, но и Гоголя, который был для Белинского неоспоримым авторитетом. Причем местами задевала весьма чувствительно: образ «птицы-тарангаса» был откровенной пародией на гоголевскую «птицу-тройку». Почему Белинский «пропустил» этот момент? Ведь в 1842 г. в своей первой статье о «Мертвых душах» Белинский обнаружил в размышлении Гоголя о птице-тройке «высокий лирический пафос», достойный «великого русского поэта», и сожалел, что «добродушное невежество», пожалуй, «от души станет хохотать» при чтении подобных эпизодов [56, т. 2, с. 293]. Теперь же Белинский сам соглашался с пародией на «птицу тройку».

Можно предположить, что обаяние этого образа для Белинского было несколько утрачено уже в 1842 г. Тогда К. Аксаков высказал мнение в том духе, что Чичиков слился со стихией русской жизни в любви к быстрой езде. Белинский высмеял это положение [56, т. 2, с. 296–297]. Аксаков пытался оправдываться, а Белинский снова иронизировал [56, т. 2, с. 339]. После этой полемики он должен был насторожено относиться к «птице-тройке» — как к примеру выпренней патетики славянофильского толка. Пародия Соллогуба могла лишь утвердить его в этом мнении. Во всяком случае, возражения Белинского она не вызвала.

Но одно дело — пародия на частный эпизод, а вовсе другое — ироническое отношение к общей авторской позиции. А в повести Соллогуба как раз и выставлялась в сатирическом свете позиция хотя и *любящего*, но *постороннего* наблюдателя российской действительности, то есть как раз та, в которой тогда находился Гоголь. Соллогуб имел еще и то основание «метить» в Гоголя, что в 1843–1844 гг. сам был за границей, где тесно общался с Гоголем и, наверняка, вынес свое суждение о взгляде писателя на далекую родину.

Возможно, Белинский и согласился бы с мнением Соллогуба о невозможности судить о России со стороны — как с объективным объяснением славянофильских заблуждений. Но фигура Гоголя, создавшего за границей бессмертные «Мертвые души», не позволяла признать подобное объяснение в качестве закономерности. Авторитет Гоголя был для Белинского, безусловно, выше чьего бы то ни было.

А потому, не желая вступать в спор с Соллогубом, Белинский, с одной стороны, по-своему истолковал причины славянофильских

заблуждений и отвел удар от жившего за рубежом и продолжавшего оттуда наблюдать за Россией Гоголя. А с другой — использовал в статье гоголевские персонажи для усиления сатирических характеристик героев «Тарантаса» (например, сравнивал Ивана Васильевича с Хлестаковым [56, т. 2, с. 854]), благодаря чему Соллогуб и Гоголь оказывались как бы авторами-единомышленниками.

В этот раз Белинский защитил Гоголя от возможных нежелательных параллелей, но «оппозиция» Соллогуба не могла быть совершенно забыта. Кроме того, до Белинского, конечно, доходили слухи о изменениях в умонастроении Гоголя. Слухи были противоречивыми, и им нельзя было доверять однозначно. Так, в 1845 г. И. Киреевский всерьез опасался, как бы к Гоголю за границей «не подольстились» иезуиты, о чем он и писал В. А. Жуковскому [229, с. 369]. Не мог же Белинский принимать всерьез подобные опасения и пересуды, хотя настороженность в ожидании новых гоголевских произведений должна была появиться. Кроме того, Гоголь написал в «новом духе» статью об «Одиссее» Жуковского, после чего настороженность Белинского окрепла.

И вот, когда в 1846 г. вышло второе издание «Мертвых душ» с предисловием, о котором мы уже говорили и которое вызвало возмущение Белинского, предчувствия оправдались. Гоголь сам признавался в том, что, живя за границей, он не знает и не может вполне верно изобразить Россию. Это означало, что Соллогуб в своем «Тарантасе» совершенно прав: человек, наблюдающий Россию издалека, с позиций постороннего, не может ни знать Россию, ни верно судить о ней. И не важно, глуп ли он или талантлив. Но Белинский еще не решается признать этого абсолютно и лишь нападает на частности. Например, замечает, что в «Мертвых душах» в лирических отступлениях «из поэта, из художника силится автор стать каким-то пророком и впадает в несколько надутый и напыщенный лиризм» [56, т. 3, с. 684]. Надо полагать, что здесь Белинский имел в виду и гоголевское рассуждение о птице-тройке, пародию на которую он недавно пропустил у Соллогуба без критических замечаний. Вообще же, после предисловия «обновленного» Гоголя к «Мертвым душам» Белинский высказал опасение за авторскую славу Гоголя в будущем.

После скорого появления «Выбранных мест» сомнения Белинского развеялись совершенно. В новой книге Гоголя он увидел тот же пророческий тон, что и у соллогубова Ивана Васильевича, ту же безосновательную выпренность, тот же отчужденный, на-

думанный, далекий от реальности образ России. Закономерно, что после этого Белинский объяснял заблуждения Гоголя точно так же, как Соллогуб — заблуждения Ивана Васильевича, и с твердым убеждением писал Гоголю: «Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек <...>. И это <...> потому, что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего *прекрасного далека* <...>».

Но если авторская отстраненность от России вела к искаженному представлению о ней, то это вовсе не означало, что *чуждой*, иностранный взгляд был вовсе бесполезен. В 1827 г. П. А. Вяземский, критикуя книгу Ансело о России, заключал: «Я, признаюсь, был бы рад найти в иностранце строгого наблюдателя и судию нашего народного быта: со стороны можно видеть яснее и ценить беспристрастнее. От строгих, но добросовестных наблюдений постороннего могли бы мы научиться <...>» [112, т. 1, с. 244].

Французский текст о России как совещательный голос. Дело не только в том, что русские литераторы обнаруживали во французском тексте дотоле неизвестные факты российской жизни. Во французском тексте русскую литературу интересовало нечто более важное: специфическая интерпретация фактов уже известных, мнения и оценки, которые помогали российскому писателю скорректировать собственное представление о России. Вот, скажем, дневниковая запись А. И. Герцена, сделанная в июле 1844 г.: «Читаю Маржерета и только что кончил Бера. Бер очень туп, Маржерет мил, как француз и *avanturier*, притом много у него схвачено живо. И после всего этого не видеть необходимости петровского переворота?» [127, т. 9, с. 181] Знаменательно, что Герцен не упоминает ни об одном факте, который он почерпнул из этих исторических записок о России, он лишь характеризует качество иностранных наблюдений, а затем, основываясь на тех, что наиболее заслужили его доверие, делает вывод относительно логики российской истории. То есть его интересуют не частности, а общий дух записок, оценки и суждения. Но в данном случае записки француза Маржерета, кажется, только подтверждали устоявшееся мнение самого Герцена о петровских реформах. Более сложное воздействие на него оказала иная, современная книга о России — записки маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году».

Книга Кюстина появилась во Франции в начале 1843 г., была сразу же запрещена в России, но уже осенью 1843 г. оказалась в руках Герцена. «Пробежал IV том Кюстина, — фиксировал он в

дневнике 26 октября. — Без сомнения, это самая занимательная и умная книга, писанная о России иностранцем. Есть ошибки, много поверхностного, но есть истинный талант путешественника, наблюдателя, глубокий взгляд, умеющий ловить на лету, умеющий по нескольким образчикам догадаться о массе. Всего лучше он схватил искусственность, поражающую на всяком шагу, и хвастовство теми элементами европейской жизни, которые только и есть у нас для показа» [127, т. 9, с. 124]. Заметно, что Герцен пока лишь сравнивает наблюдения Кюстина со своими представлениями. Принимая собственное мнение за изначально более точное и объективное, он использует его в качестве мерила верности или ошибочности кюстиновских наблюдений. Герцен вносит в дневник довольно обширное рассуждение, где анализирует частные эпизоды книги, но для нас важен вывод из этого рассуждения. «Тягостно влияние этой книги на русского, — заключает Герцен, — голова клонится к груди, и руки опускаются; и тягостно оттого, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного места, и миришься с ним за многое, и более всего за любовь к народу» [127, т. 9, с. 126]. Если бы Герцен имел целью лишь проверить суждения Кюстина, то почему книга произвела на него такое глубокое впечатление? Очевидно, что Герцен не просто «проверял» наблюдения иностранца, он использовал их в качестве призмы, сквозь которую сам посмотрел на Россию. И эта специфическая оптика корректировала его собственный, уже сложившийся взгляд.

Через две недели Герцен сделал новую запись: «Читал 1 том Кюстина. Книга эта действует на меня как пытка, как камень, приваленный к груди; я не сморю на его промахи, основа воззрения верна, и это страшное общество, эта страна — Россия. Его взгляд оскорбительно много видит» [127, т. 9, 128]. «Основа воззрения верна» — вот главный вывод о книге Кюстина. Герцен сначала проверил суждения иностранца на добросовестность, потом сам взглянул на Россию его глазами и теперь мучительно ощущает, что картина при этом новом взгляде становится более объективной. Она стала менее утешительной, она оскорбляет патристическое чувство, но она приближает читателя, в данном случае Герцена, к истинному представлению о вещах. А потому некоторые формулировки Кюстина в отношении российской действительности Герцен использовал в дальнейшем.

Откуда такая покорность чуждому критическому взгляду? Не списать ли ее на революционный дух писателя? Или объяснить

ее обидой Герцена на российское правительство за недавнюю ссылку?

Лучше обратимся к другому литератору — человеку весьма умеренных и вполне патриотических убеждений — Александру Васильевичу Дружинину. Отзыв о книге Кюстина он записал в своем дневнике 5 августа 1854 г., то есть в самый разгар Восточного кризиса и во время особенно ожесточенных нападок на Россию во французской и английской прессе. Укоров Кюстину он высказал довольно: упрекнул в «излишней страсти к *обобщениям*», приписал «неумение сладить со своею темой», да и вообще назвал его книгу «безобразной». Но обратимся к итогу рассуждения. «Одно в Кюстине хорошее качество: он не лжец, — признается Дружинин. — <...> Изобилие черных теней никогда не повредит картине так, как изобилие глупо-ярких красок и нелепых бликов. <...> Для умного и любящего свое отечество русского это сочинение может быть полезным чтением, ибо автор иногда зорок посреди слепоты и рассказом нелепости родит мысль дельную» [177, с. 298–299]. А вот еще пример: дневниковые записи славянофила (причем славянофила, что называется, «официального»), профессора истории и к тому времени уже академика — М. П. Погодина. Цитируем подборку, сделанную его биографом Н. Барсуковым, также горячим патриотом. 5 декабря 1843 г. Погодин записал: «А много жестокой правды в Кюстине, хоть он и скучен». 8 декабря: «Прочел целую книжку Кюстина. Много есть ужасающей правды о России». 12 декабря: «Оканчивал Кюстина, от которого часто мороз подирает по коже» [45, кн. 7, с. 285–286]. Погодин не раз вступал в печатные и устные споры с иностранными мнениями, защищая российский престиж. Но, судя по дневнику, западная критика нередко заставляла его пересматривать собственное отношение к российской действительности. Так, задолго до выхода книги Кюстина, летом 1840 г., славянофилы А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и К. С. Аксаков встречались в Москве с предводителем французской оппозиции, депутатом французской Палаты депутатов Могеном. К. С. Аксаков передавал Погодину следующую речь Могена: «Мы не против России и совсем не за поляков; поддерживая поляков в 1830 г., мы защищали только себя. Ваш государь хотел напасть на нас. <...> Владейте Польшею, возьмите Константинополь, только не трогайте нас. Но ваш государь не любит нас, и мы должны опасаться его беспрестанно». М. П. Погодин имел репутацию официального патриота, рассмат-

ривал польское восстание с «государственных» позиций и не отличался благоговением перед французами, но он не только зафиксировал слова Могена в своем дневнике, но и заключил запись значимым выводом: «Здесь много правды...» [45, кн. 5, с. 479].

Вернемся к сочинению Кюстина. Конечно, степень доверия российских читателей к суждениям маркиза во многом определялась причинами субъективными. Каждый сравнил кюстинский образ России не только с действительной Россией, но с тем образом страны, который носил в собственном сознании. А поскольку индивидуальные представления о России были бесконечно разнообразными, то и в книге Кюстина всякий читатель находил свою «правду» и свою «неправду».

Чтобы уловить это, вспомним хотя бы приведенный выше отзыв из дневника Герцена. Но то был отзыв вернувшегося из ссылки человека, увидевшего жизнь российской глубинки и на себе испытывавшего пресс государственного механизма, своеволие и корыстолюбие чиновников. А теперь для сравнения процитируем гоголевское замечание о книге Кюстина, помещенное в «Выбранных местах». К тому времени Гоголь отвык от реальной России, представлял ее в идеальном свете, поэтизировал патриархальность российских нравов, и это четко определило его представление о том, какие наблюдения француза следует считать достоверными, какие — нет. «Широкие черты человека величавого, — размышлял Гоголь в новом, «пророческом» стиле, — носятся и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже иностранцы, заглянувшие вглубь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них (Кюстин. — *В. О.*), издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с другой стороны Россию, не мог скрыть изумления своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный останавливался он перед нашими маститыми белоголовыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы <...> не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги» [134, т. 7, с. 378–379]. Окажись книга Кюстина в руках Гоголя десятью годами раньше, когда он покидал Россию, по его же признанию, чтобы «размыкать тоску», которую «ежедневно наносили» ему

«соотечественники» [134, т. 8, с. 100], и он, наверное, поверил бы многим критическим отзывам француза о России, которые теперь показались ему результатом ненависти.

Менялись взгляды писателя, менялся и образ родины в его воображении. Подобную трансформацию наблюдаем у Герцена. Пока он находился в России и ежедневно сталкивался с уродливыми чертами ее жизни — откровения Кюстина представлялись ему глубокой и зачастую неоспоримой истиной. Но стоило Герцену удалиться из России, сравнить родину с Европой, которую Герцен идеализировал прежде, и образ России становится в его сознании шире, наполняется позитивным значением. Уже в 1849 г. он создает свой первый европейский очерк в защиту родины, озаглавив его «Россия». Он и теперь не отнимал у Кюстина «дара наблюдательности», но зато замечал у него и «легкомыслие», и «любовь к фразе»; указывал Герцен и на то, что Кюстин не узнал ни русского простонародья, ни русской литературы.

Менялось отношение к России и у Ф. И. Тютчева, а одновременно — менялась и степень его доверия к иностранным суждениям о ней. В 1822 г. Тютчев отправился за границу, где состоял при русской дипломатической миссии. В 1825 г. он приезжал в Россию и удивлял Погодина своими «европейскими» суждениями о родине. «Увидел Тютчева, — отмечал Погодин в дневнике, — <...> он пахнет двором. — Отпустил мне много острог. В России канцелярия и казармы. — Все движется около кнута и чина. — Мы знали афишку, но не знали действия и т. п.» [260, с. 13] Эти «остроты» не что иное, как европейские штампы в определении России. Последняя фраза — почти калька возникшей позднее кюстиновской формулировки «Россия — империя фасадов». Увлеченный новизной и блеском европейской жизни, молодой Тютчев, видимо, был склонен доверять этим остроумным клише.

Тютчев жил за границей до 1844 г. и имел возможность следить за российскими новостями лишь опосредованно, умозрительно. Тем не менее его представления о России менялись. Ее образ становился более притягательным. Уже в 1839 г. он строил планы возвращения домой и сообщал родителям, что ему «надоело существование человека без родины» [524, т. 2, с. 44]. Брат второй жены Тютчева, Карл Пфедфель, вспоминал, что в начале 1840-х гг. поэт «почувствовал отвращение к Западу и обратился к своей исходной точке — к России» [416, с. 34]. «Хоть я и не привык жить в России, — писал Тютчев родителям в марте 1843 г. из Мюнхена, — но думаю, что

невозможно быть более привязанным к своей стране, нежели я, более постоянно озабоченным тем, что до нее относится» [524, т. 2, с. 77]. «Будь я назначен послом в Париж с условием немедленно выехать из России, — писал он, уже вернувшись на родину, — и то я поколебался бы принять это предложение» [524, т. 2, с. 99].

Разочарованный в западной цивилизации, Тютчев уже не мог доверять западным суждениям о своей родине. Книгу Кюстина воспринял в штыки и заявил, что она «служит новым доказательством <...> умственного бесстыдства и духовного растреления», которые, по мнению Тютчева, были отличительной чертой современной эпохи, «особенно во Франции» [45, кн. 7, с. 284]. Летом 1845 г., подготавливая свою дочь, А. Ф. Тютчеву, к приезду в Россию, он убеждал: «Ты найдешь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте. До сих пор ты знала страну, к которой принадлежишь, лишь по отзывам иностранцев. Впоследствии ты поймешь, почему эти отзывы, особливо в наши дни, заслуживают малого доверия» [524, т. 2, с. 105].

Но вот что характерно: даже признав в принципе несправедливость и недоброжелательность иностранных отзывов о России, Тютчев продолжал интересоваться ими. В ноябре 1844 г. в «Revue des deux Mondes» появилась статья С. Робера о странах греко-славянского мира, в том числе о России. В Россию статья доставлялась с купюрами, но у Тютчева был неурезанный вариант, который он переслал П. А. Вяземскому с письмом следующего содержания: «<...> Не прискорбно ли видеть, что иностранец, почти враг, имеет о нас, — о том, что мы есть и чем можем быть, — такое точное понятие и такой ясный исторический на нас взгляд, чего мы совершенно лишены <...>. Скажу больше: в ненависти этого иностранца заключается не только больше понимания, но и больше симпатии. Сравните, прошу вас, его столь поэтический и, однако же, столь верный очерк карты России с теми гнусными мелкими карикатурами, якобы народными, коими мы принялись с некоторых пор прославлять нашу страну...» [524, т. 2, с. 101]. Отчасти ответ дан: по мнению Тютчева, даже враждебный взгляд иностранца на Россию может быть верным, а потому полезным.

Да, может быть верным, но ведь может быть и совершенно ложным. Стоит ли интересоваться мнением иностранца в этом случае? Ответ на этот вопрос находим в письме Тютчева снова же к П. А. Вяземскому. Оно датировано мартом 1848 г., то есть относится ко времени, когда российско-европейские отношения были

особенно напряженными и на Россию обрушивался шквал критики. «Враждебность, проявляемая к нам Европой, — рассуждал Тютчев, — есть, может быть, величайшая услуга, которую она в состоянии нам оказать. <...> Нужна была эта, с каждым днем все более возрастающая враждебность, чтобы принудить нас углубиться в самих себя, чтобы заставить нас осознать себя» [524, т. 2, с. 142]. «Осознать себя» — выражение, конечно, весьма абстрактное. Можно понять его предельно общо и на этом основании сделать вывод, что Тютчев имел в виду, скажем, развитие национально-культурного самосознания русских. Но если проанализировать европейские публикации Тютчева этого периода, если сопоставить их с произведениями славянофилов, которые, кстати, тоже нередко использовали формулу «осознать себя» и подобные ей, то станет ясно, что речь идет о вещах более конкретных, нежели культурное самоопределение нации. В 1840-х г. российское общество все определеннее ощущало ущербность внутри- и внешнеполитической ситуации. Это рождало потребность искать выход, но для поиска выхода было необходимо проанализировать настоящее положение страны, выявить потенциальные возможности для усовершенствования российской жизни. Такое вмешательство интеллектуальной части общества в «государственные дела» требовало лояльных, безопасных, неполитизированных формулировок, в числе которых и оказались: «осознать себя», «углубиться в самих себя» и т. д. И тогда из высказывания Тютчева следует, что зарубежная критика (будь она даже озлобленной и лживой) необходима как внешний толчок для анализа российской жизни и для поиска пути к усовершенствованию России.

Чужой взгляд на *свое* на самом деле заставлял отчетливее увидеть неприглядные стороны действительности. В 1843 г. А. В. Никитенко познакомился с сочинением о России французского мармье и записал в своем дневнике: «Прочел у Мармье следующие заметки о России: “Все дома в русских деревнях серые, вытянутые в одну линию, построенные по одному образцу, кажутся вышедшими из земли по повелению русского офицера”. Очень верно! Далее: <...> “...Помещичьи крестьянам в России лучше, чем казенным. Первых защищает помещик как свою собственность, а вторых грабят чиновники”. <...> Вообще, замечания Мармье верны. Очевидно, он писал со слов кого-нибудь, хорошо знающего Россию» [343, т. 1, с. 267]. Уж Никитенко, вышедший из крепостных, конечно, без указаний

Мармье прекрасно знал, как выглядят крестьянские избы и как живет казенным крестьянам. Но замечание иностранца актуализировали эти знания, усилили их значение среди других представлений Никитенко о родине.

Указания иностранцев зачастую имели позитивный эффект, побуждали читателя к анализу негативных сторон отечественной жизни, стимулировали осознание исторических перспектив. Однако пресс государственной машины не позволял обществу развить в реформационном направлении законченные теоретические и тем более практические инициативы. Процесс «осознания себя» оказывался в России не вполне легальным, вредным — с точки зрения правительства. Об этом явственно свидетельствуют уже хотя бы те притеснения, которым подвергались славянофилы. А потому неприятие российской жизни, подкрепленное иностранной критикой, очень редко выливалось в открытый протест, как, например, у Герцена, покинувшего родину. Обычно же приходилось приспосабливаться к условиям, созданным официальной системой, и противостоять им пассивно, скрытно. Процесс осмысления российским обществом современного состояния России и ее будущего зачастую уходил, выражаясь современным языком, «в тень» — в сферу салонных и кулуарных бесед, дружеских и семейных откровений. И вполне закономерно, что большинство процитированных нами отзывов об иностранных авторах и мнениях находится в личных дневниках и частной переписке. Недовольство российскими порядками не исчезало, оно накапливалось и поддерживалось в стадии неяркого, но постоянного горения, оно постепенно усиливалось не только повседневными встречами человека с удручающими реалиями, но, в том числе, — и доходившими до российского читателя негативными отзывами иностранцев о России.

Неудачи в Крыму довели разочарование в существующем положении дел до пиковой точки. Смерть Николая I ослабила властный контроль над изъяслением мнений. Потеря Севастополя повергла российское образованное общество всех уровней — от литераторов до высокопоставленных чиновников — в состояние депрессии. Поражение в войне обозначало ущербность не только государственной системы, существовавшей в России 30 лет, но и — национальной идеологии, социальной структуры, внешнеполитических ориентиров. И хотя российская культурная элита на протяжении всех этих 30 лет пыталась выработать и альтернативную официальную идеологию, и политические идеалы, и схемы разрешения социальных вопросов, но к моменту крушения уста-

ревшего государственного здания Россия не обладала готовой моделью обновленного развития. Существовало лишь множество проектов вывода России из кризиса, но не было реальной программы, которая могла бы собрать под свои знамена разнородные общественные группы.

Настроение растерянного поиска, постепенно овладевшее российским обществом и русской литературой к моменту «крымской катастрофы», отчетливо прослеживается по стихотворениям одного из лидеров славянофильского круга — А. С. Хомякова.

В 1839 г. в честь 25-летней годовщины окончания войны с французами Николай I провел на Бородинском поле маневры, дабы продемонстрировать миру свою военную мощь. Хомяков откликнулся стихотворением «России». Перебрав давно приевшиеся, но официально поддерживаемые формулировки о военном и географическом величии отечества, он завершал тем, что счастье России не в гордости за свою мощь и размеры, а в смирении. Поскольку стихотворение перепечатывалось в нескольких изданиях, в том числе в «Отечественных записках», оно, думается, было актуальным. Учитывая цензурные препоны, под призывом к смирению, кажется, следует понимать призыв к осознанию несовершенств российского жизнеустройства.

В 1844 г. Хомяков написал стихотворение «Не говорите: “То былое...”», где, выступая против идеализации отечественной истории, перечислял «грехи» предков и настаивал на том, что «племя молодое» эти грехи унаследовало. Стихотворение снова наводило на мысль о несовершенстве современной России. Какой же оно предлагало выход? А вот какой:

*За все беды родного края, —
Пред богом благости и сил
Молитесь молча и рыдая,
Чтоб он простил, чтоб он простил!*

[547, с. 123]

При всем уважении к религиозным чувствам автора и даже если он в самом деле верил, будто соборная молитва сможет нечто изменить в жизни России, то все же вызывает сомнение, что Хомякову действительно представлялся возможным всеобщий отклик «молодого племени» на его призыв. Мог ли он предложить иной путь разрешения ситуации? Наверное, если бы знал, непременно бы его предложил.

В 1853 г. Россия вступила в Дунайскую кампанию. Хомяков на время воодушевился мыслями о всеславянском единстве и в стихах призывал: «Вставайте, славянские братья, // Болгарин, и серб, и хорват!» [547, с. 133] Тогда Хомякову представлялось, что миссия России и всякого русского — освобождение славянских народов. Но по мере того, как война затягивалась и теряла желаемую перспективу, Хомяков снова начал возвращаться к мыслям о несовершенствах отечества. 23 марта 1854 г. он написал стихотворение «Россия». Начав с того, что Россия господом избрана для «святой брани», автор указывал, что мешает России исполнить эту миссию — причины в самой России, которая

*В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймлена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!* [547, с. 136]

Какой же выход?

*О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей головой!* [547, с. 137]

Для человека набожного призыв к покаянию, разумеется, имеет конкретный смысл, а само покаяние — реальные следствия. Но что означает такой призыв, когда он обращен ко всей стране, которую составляют в том числе и люди не слишком религиозные, и люди вполне практические, а между ними — и солдаты, которые, будь они даже очень верующие, видят свой долг вовсе не в покаянии, а в том, чтобы убивать или умирать во благо той же России? Понятно, что этот призыв может восприниматься лишь как отражение авторского настроения, но вовсе не как реальная программа спасения отечества. Между тем, на грехи отечества Хомяков указал весьма точно. Настолько точно, что стихотворение, распространившееся в списках, вызвало возмущение ура-патриотов и официоза. Думается, стихотворение могло вызвать раздражение и в других кругах, поскольку автор очень конкретно указал на пороки страны, но способ борьбы с этими пороками предложил настолько нереальный, что могло сложиться впечатление, будто выхода из ситуации вообще не существует.

Ощувив ропот публики, Хомяков написал 3 апреля 1854 г. новое стихотворение «Раскаявшейся России». Указания на грехи отечества он несколько смягчил, но другого пути к спасению отечества так и не придумал:

*Не в пьянстве похвальбы безумной,
Не в пьянстве гордости слепой,
Не в буйстве смеха, песни шумной,
Не с звоном чаши круговой;
Но в силе трезвенной смиренья
И обновленной чистоты
На дело грозного служенья
В кровавый бой предстанешь ты* [547, с. 173].

Трудно сказать, долго ли верил Хомяков в политическую и военную действенность российского смирения и покаяния, но во время осады Севастополя он больше не призывал к подобным методам гражданского самоусовершенствования, а в своем имени занялся созданием усовершенствованного дальнобойного ружья для российских войск.

Русские литераторы и общественность искренне искали и предлагали способы спасения страны. Но в условиях приближающегося бедствия все благие начинания — и вполне практические, и чисто умозрительные — пропадали втуне. Общество оказалось в полной растерянности. Рушилось представление о мощном и надежном отечестве. В конце 1854 – начале 1855 гг. приобрело широчайшую популярность ходившее в списках стихотворение П. Л. Лаврова «Русскому народу», где чувство общественного разочарования выражено чрезвычайно остро:

*Гордились мы одним: могуществом России
В собраньи королей;
«Что нам — мы думали — их укоризны злые,
Мы все-таки сильнее».*
<...>

*Мы верили, гордясь необозримым краем,
Милльонами штыков:
«Не любят нас за то, что мы преобладаем
Над сонмищем врагов»* [266, с. 33–35].

Теперь основание для гордости своим государством превращалось в мираж, а многие критические отзывы о России западных писателей и журналистов подтверждались российской нацио-

нальной трагедией. 30 августа 1855 г. А. В. Никитенко записал в дневнике «горестную весть»: «*Севастополь взят!*» «Боже мой, сколько жертв! — рассуждал он дальше. — Какое гибельное событие для России! <...> Одного мгновения безумной воли, опьяневшей от самовластья и высокомерия, достаточно было, чтобы с лица земли исчезло столько цветущих жизней, протекло столько крови и слез <...>».

Мы не два года вели войну — мы вели ее тридцать лет, содержа миллион войск и беспрестанно грозя Европе. К чему все это? Какие выгоды и какую славу приобрела оттого Россия?» [343, т. 1, с. 418] Последние фразы будто взяты из французской или английской газеты. Между тем, Никитенко — патриот и законопослушный гражданин. Но эффект от военного провала был таким, что общество готово было доверять скорее неприязнительской критике, нежели заверениям обанкротившегося российского официоза. Вот еще одна дневниковая запись. Она принадлежит сенатору К. Н. Лебедеву и относится к январю 1856 г. Речь идет о статье А. Picard «*Du gouvernement des tzars et de la société russe*»⁵, опубликованной в «*Revue des deux Mondes*». Лебедев оценивает французского автора: «Он, конечно, поверхностно и часто ошибочно описывает наш климат, наше географическое положение, наши исторические судьбы и наше общественное и политическое состояние. <...> Но есть воззрения любопытные; так, например, на дворянство, дробящееся и обнищавающее, на необходимость поделиться с дворянством властью и приступить к освобождению крестьян <...>. Вельми хорошо обрисованы наши винные откупа, которые Пикар называет *trafic coupable*»⁶ [276, с. 293].

Подобного рода рассуждения и замечания, которые в 1855 — начале 1856 г. цензор Никитенко или сенатор Лебедев могли доверить лишь своему дневнику, очень скоро, сразу после Крымской войны, прорвались в публицистику и литературу. Отечественный читатель ждал от авторов разоблачений и указаний на те пороки, которые довели Россию до кризиса. Литераторы в ответ выражали в своих сочинениях давно созревавший, но до той поры не имевший широкого выхода к публике критический взгляд на действительность. Облик и направление русской литературы стремительно менялись. «Вас приводит в недоуме-

⁵ «О правлении царей и русском обществе».

⁶ Преступная спекуляция.

ние новый путь, который приняла наша журнальная беллетристика, — писал В. П. Боткин Л. Н. Толстому в конце 1857 г., — но разве Вы забыли, что Россия переживает первые дни после Крымской войны, ужаснувшей ее неспособностью, безурядицей и всяческим воровством? Пороки, вкравшиеся в русскую общественность и к которым так привыкли, что считали их необходимыми, — вдруг показались ужасными, когда пришли в соприкосновение с национальным чувством. <...> Рассказы Щедрина попали как раз в настоящую минуту. Оскорбленное национальное чувство, как всякое оскорбление, требовало возмездия и бросилось с злым наслаждением читать рассказы о всяких общественных мошенничествах, то есть плевать самому себе в рожу» [580, т. 1, с. 230]. В том же духе начиналась статья Н. А. Добролюбова о «Губернских очерках» Щедрина, помещенная в 1857 г. в «Современнике». «Два года тому назад, — замечал критик, — нас расшевелила война, заставивши убедиться в могуществе европейского образования и в наших слабостях. Мы как будто после сна очнулись, раскрыли глаза на свой домашний и общественный быт и догадались, что нам кое-чего недостает. Едва эта догадка озарила наш ум, как мы с редкою добросовестностью и искренностью принялись раскрывать “наши общественные раны”» [169, с. 7–8].

Критический дух русской литературы был усилен Крымской войной, попал на страницы печати по причине поражения в Крымской войне, но зародился он значительно раньше и постоянно подогревался, в том числе — и произведениями иностранцев о России. Пока Россия пребывала в состоянии относительного благополучия, даже справедливая зарубежная критика могла выглядеть клеветой. В период поражения и упадка даже предвзятые суждения иностранцев начинали пользоваться доверием. Российские литераторы и теперь, после войны, часто выступали против откровенно нелепых и озлобленных реплик иностранных авторов, но принципиально зарубежный критический взгляд теперь не отталкивал: в нем искали указаний на «общественные раны».

Впрочем, использование русской литературой зарубежных критических отзывов о России к тому времени уже имело свою историю. Не беремся проследить ее подробно, но приведем несколько показательных эпизодов. В 1829 г. Ф. В. Булгарин выпустил роман «Иван Выжигин». Как следовало ожидать, это сочинение не содержало в себе ничего крамольного и противоречащего офици-

альной позиции. И все же нравоучительный роман указывал на кое-какие недостатки российской жизни, и автор сочинил специальное предисловие, в котором оправдывал свою «благонамеренную сатиру». Для пушей убедительности он описал случай из петровских времен. «Великий Петр, — сообщал Булгарин, — повелел переводить с иностранных языков на русский многие полезные книги. Переводчик *Пуффендорфовых сочинений* выпустил все колкое на счет тогдашних нравов и обычаев русского народа и заменил сии места ласкательствами. Мудрый преобразователь России прогневался за это искажение подлинника, велел перевести книгу в настоящем виде и посвятить своему имени. “Не в поношение русским приказал я напечатать сатиру на наши нравы, — сказал государь, — но к исправлению. Пусть знают, чем мы были, чем мы теперь и чем быть должны. Если все, что в книге написано, неправда, то ложь нас не обесславит; а если сочинитель говорит правду, постараемся сделаться такими, чтоб слова его показали ложью”» [84, с. 25]. Возможно, обращение Булгарина к авторитету «мудрого преобразователя России» ныне покажется излишней авторской предосторожностью, но известно, что в пору выхода романа придирчивость российской цензуры порою доходила до абсурда.

Впрочем, булгаринский роман был не иностранной, а отечественной сатирой, да и то — «благонамеренной». Но, как оказывается, Булгарин все же был не прочь обращаться за помощью к зарубежным критикам российских нравов. В 1846 г. он составил для III Отделения одну из своих «записок», озаглавленную «Несколько правд, предлагаемых на благорассуждение». Покровительство жандармского начальства было выгодно ему во многих отношениях. Переписка с начальниками жандармов позволяла ему добиться для себя как для издателя и журналиста многих льгот и преимуществ. Но, кажется, при составлении булгаринских «записок» присутствовал и еще один мотив: автор упивался возможностью конфиденциально высказывать в них такие вещи, за которые другие литераторы могли легко подвергнуться строгому наказанию. Все выглядело так, что он, Булгарин, обсуждал с важными персонами дела государственной важности и не смущался при этом условностями, обязательными для простых смертных. Записка, которую мы упомянули, вполне оправдывала название: в ней действительно высказывались «правды», причем высказывались с дерзостью не смелого, но наглого человека,

почувявшего вседозволенность, — беззастенчиво остро и прямо. Булгарин начинал с той «правды», что в России отсутствует возможность публиковать информацию о злоупотреблениях. В качестве доказательства он описывал эпизод, который стоит привести полностью: «Носились слухи в городе, *якобы* государь император, встретясь где-то с графом Киселевым, за границую, указал ему на книгу (путешествие французского инженера с женою по южной России для нивелировки пространства между Черным и Каспийским морями), в которой сказано и доказано, что в России есть *система сокрытия истины*, от низшего чиновника до высшего сановника, и что таким образом государь император весьма мало знает, что делается в России. Не вхожу в разбор, справедливо ли, что государь император говорил об этом Киселеву, но что в словах жены инженера есть много правды, — это, кажется, не подлежит сомнению» [278, с. 318].

«Путешествие французского инженера с женою» — это, без сомнений, «*Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimie et la Russie m'ridionale*»⁷ — трехтомное сочинение, выпущенное в 1843–1845 гг. в Париже супругами Омер де Гелль, которым мы еще посвятим отдельный сюжет. Но важно другое: в официальной переписке Булгарин использует французское критическое замечание о России как источник объективной информации. Напиши он то же самое в своей «Северной пчеле», и самое малое, что ему пришлось бы испытать, — это суровое внушение из уст шефа жандармов. Так же вероятно, что подобная публикация не ускользнула бы от высочайшего внимания, а тогда — неприятности Фаддея Венедиктовича стали бы еще серьезнее. И стало бы вовсе не важно, что супруги-французы сказали о России правду и что сам государь с этой правдой согласился. Поскольку Булгарин, взявшись публично судить о государственных вопросах, превысил бы этим права российского литератора, а значит, был бы обречен на взыскание.

Иное дело — конфиденциальная, скрытая от общественности переписка. Ни одна власть не любит критики, но всякая власть нуждается в объективной информации. Для получения такой информации она обзаводится специальными агентами, секретными сотрудниками, «своими» литераторами и т. д. Почему бы для той же цели не использовать и иностранных писателей? Тем более

⁷ «Прикаспийские степи, Кавказ, Крым и южная Россия».

что их не нужно уговаривать писать многочисленные «правды» о России. В этом отношении даже пресловутый маркиз де Кюстин был полезен российскому правительству. Когда государь выразил гнев по поводу его сочинения, шеф III Отделения, генерал Бенкендорф, не рискуя попасть в немилость, заявил: «Г-н де Кюстин лишь сформулировал те мысли, которые издавна существуют о нас, включая нас самих» [194, с. 590]. Это была одна из множества «правд», предназначенных для внутреннего употребления и запрещенная для публики.

Правительство умело пользоваться подобными иностранными «правдами» о России, и потому эти «правды» начинали напоминать доносы российским властям. В 1851 г. Герцен опубликовал в Европе на французском языке знаменитую брошюру «О развитии революционных идей в России». Понятно, что Герцен мог создать и создал логически обоснованную и исторически подтвержденную картину освободительного движения в России. Европе его книга представила о непрерывной борьбе российского общества против деспотической машины, о перспективах и неизбежности продолжения этой борьбы. Но беда в том, что из брошюры Герцена ту же информацию могли черпать и российские власти, готовые пресечь любые общественные инициативы, не говоря уже о революционных. Таким образом, книга, с одной стороны, открывала Европе новую, не покорную «северному императору» Россию, с другой — грозила поставить эту непокорную Россию под удар властей. Для тех, кто находился в России, такая опасность была очевидной. А потому близкий друг Герцена Грановский, который еще не читал брошюру, а лишь слышал о ней, отправил автору возмущенное письмо, где говорил: «Сердце сжато и голова горит при мысли, что *ты*, а не другой сделал это. Не ты ли восставал на иностранцев, писавших о России, не обращая внимания на наше положение и называя лица по именам? А ты поступил хуже. Никто столько не повредил нам, как ты. Да! Не благие плоды принесла нам до сих пор русская эмиграция. Мы не будем благословлять ее. Можно ли было тебе стать наряду с Головиным?» [129, с. 358]

Грановский писал в порыве, осуждал сгоряча. Герцен, наверняка, представлял, какие последствия может иметь его книга в России, но все же опубликовал ее. У него были на то свои выношенные, зрелые соображения, но об этом в своем месте. А пока остановимся на том заключении, что правительство, которое вся-

чески предохраняло российского читателя от иностранных критических суждений о России, само использовало эти суждения как источник объективной информации о российской жизни.

Теперь обратимся к тому лагерю, который зачастую противостоял официозу — к русской литературе.

В 1821 г. русский поэт, офицер и один из руководителей бессарабской группы декабристов В. Ф. Раевский работал над статьей об ужасах крепостного права. Статья не была завершена, но, судя по написанному отрывку, можно предположить, что автор не надеялся увидеть эту работу опубликованной, а рассчитывал, что она попадет к читателю в виде рукописных копий: это была обычная форма существования потаенной литературы. В. Ф. Раевский участвовал в Отечественной войне и в европейских походах, его стихи преисполнены патриотического пафоса и гордостью за победоносное отечество, но на сей раз он выступал в качестве критика одной из сторон российской жизни. В этом он, конечно, имел отечественных предшественников, например, Радищева. Но правда и то, что дозволенная русская литература имела слишком незначительный опыт в критике крепостного права. Для В. Ф. Раевского, как и для других декабристов, некогда побывавших в европейских походах, был доступнее и, наверное, представлялся более соответствующим современности иной образец — французский (или шире — европейский) текст о России, где крепостное право уже давно приобрело свои оценочные и описательные шаблоны.

Можно почти с уверенностью сказать, что в бытность за границей Раевский, как и другие российские военные, посмеивался над европейскими предрассудками относительно русских и России, а может быть, и возмущался ими. Но теперь, когда он сам оказывается в роли критика российских порядков, он обращается к риторике европейского текста о России, например, использует шаблонное представление о русском варварстве. Перечисляя уродства помещичьей жизни, Раевский заявляет: «Дворяне русские есть что-то варварское, но не азиатское, ибо вообще роскошь азиатов заключается в числе наложниц и пышных уборов, оружий, одежде. У нас же все это искажено и увеличено <...>» [444, с. 215]. А в заключение вообще задается вопросом: «И не имеют ли права иностранцы упрекать нас в варварстве?» [444, с. 217] На основании перечисленных в статье фактов читатель, несомненно, должен был прийти к выводу, что иностранцы имеют право «упрекать нас в варварстве». То есть, оценив условия российской жизни,

Раевский становится на позиции чужеземных критиков России. Немаловажно, что статья писалась в тот момент, когда в общественной памяти были еще яркие воспоминания о варварстве французов, о благородстве русских покорителей Парижа, о всеевропейском блеске российского императора. Как же должны были относиться к критическому взгляду Европы литераторы следующих поколений, не участвовавшие в победоносном шествии по Европе, но постоянно наблюдавшие язвы отечественного бытия?

Западничество явилось следствием объективного осознания превосходства европейского образа жизни над отечественным. Признание этого превосходства заставляло российских литераторов признавать верность воззрений европейских политиков, ученых, писателей, а зачастую становиться на позиции европейских критиков России. Порою пристрастие к западному взгляду на Россию приобретало вид крайности. Н. Барсуков указывает, что А. Н. Островский, например, в конце 1840-х гг. заверял, будто «ему противен вид самого Кремля с соборами. Он изумил однажды Филиппова (Т. И. Филиппова. — *В. О.*), сказав: “Для чего здесь настроены эти пагоды?”» [45, кн. 11, с. 66]

Еще пример. А. Я. Панаева (Головачева) в своих «Воспоминаниях» пересказывает спор, который якобы произошел в начале 1850 г. между Н. А. Некрасовым и его ближайшими литературными соратниками — И. С. Тургеневым и В. П. Боткиным. Спор коснулся свойств русской престоной публики, и Боткин при этом не только усомнился в способности русского народа воспринимать литературу, но и разразился следующей тирадой: «И знать не хочу звероподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в таком государстве. Ведь вся Европа <...> смотрит на русского чуть ли не как на людоеда». «Ты ведь не путешествовал по Европе, а мы в ней жили и не раз испытали стыд, что принадлежим к дикой нации» [399, с. 330], — завершал Боткин, обращаясь к Некрасову.

Комментатор цитированных «Воспоминаний» Г. В. Краснов вполне основательно предполагает, что мемуаристка приписала Боткину эту речь, поскольку все его позднейшие высказывания по поводу русского народа носят либо несравнимо более мягкий, либо вовсе противоположный характер [399, с. 475–476]. В то же время, учитывая наблюдательность и проницательность А. Я. Панаевой, трудно поверить, чтобы она сама «изобрела» подобную тираду, да еще вписала ее в совершенно неподходящую ситуацию. Остается

догадываться, что подобного рода мнения (пусть даже они принадлежали и не В. П. Боткину) действительно имели место в западническом кругу как форма протеста против российской действительности, в горячности выраженная не по адресу и с перегибами.

Крайности — вещь почти неизбежная, но на их основании нельзя выводить закономерности. Можно привести множество примеров, когда западники не только не принимали европейского взгляда на Россию, но и активно противостояли ему. Речь о другом: русская литература, в первую очередь западнического направления, в своей критике российской действительности была готова опираться на французский (европейский) текст о России.

И чем сильнее общество овладевало разочарованием в отечественном устройстве дел, тем последовательнее становились обращения к зарубежным сочинениям о России. В 1856 г. «Современник» поместил статью П. П. Пекарского «Поездка графа Матвеева в Париж в 1705 году». Автор статьи сообщал любопытную информацию о том, как русских воспринимали во Франции в конце XVII — начале XVIII в. Он не идеализировал французского взгляда и упрекал французов в манере «смотреть на все с своей национальной точки зрения и офранцузивать народы всех времен и стран» [401, с. 43]. Но при этом Пекарский вовсе не отрицал и значимости французских критических суждений о русских. В подтверждение этой мысли он пересказывал тот самый эпизод из петровского царствования, который некогда использовал Булгарин в предисловии к «Ивану Выжигину». Петр I приказал «слово в слово» перевести «все жесткие и колкие для России» места из некоего иностранного сочинения и заявил, что приказал напечатать сию статью “не в поношение своих подданных, но к их исправлению”» [401, с. 66]. У Булгарина этот эпизод звучал как оправдание «благонамеренной сатиры». В новом же контексте — в журнале западников, в период военного поражения России, в применении к историческому материалу — петровское внушение приобрело вид принципиальной установки в освоении европейского текста о России: прислушиваться к западной критике для исправления отечественной действительности.

Эта позиция стала итогом (впрочем, не единственным и не для всех очевидным) долговременного взаимодействия русской литературы с французским (европейским) текстом о России. Но следует учитывать и то, что общественная позиция не всегда соответствует литературной и научной. Часто ли представители

образованного российского общества, сталкиваясь с европейскими мнениями о России и реагируя на них, руководствовались опытом отечественной литературы?

Взгляд наших и ненаших? Мы уже говорили, что западничество как направление культурной и социальной мысли следует отделять от банального увлечения французскими идеями и модами — того увлечения, которое в России именовалось галломанией, имело характер долговременный, а масштабы — весьма широкие. Среди прочего галломания влияла и на отношение русских к России, поскольку поклонники французской культуры нередко перенимали не только французские формы общения и одежды, но и французские представления о России. У патриотической части общества это вызывало острое неприятие. Показательны в этом отношении воспоминания историка И. П. Сахарова. Небрежение русских к своему отечеству он однозначно связывал с воспитанием российского дворянства французскими гувернерами. Итогом такого образования, по мнению Сахарова, было то, что поколения русских дворян превращались в «отверженцев, не знающих чести и славы родины» [467, с. 904]. «Батюшки и матушки, — вспоминал историк о первых десятилетиях XIX в., — соглашались на все цены и требования, лишь бы иметь заморское чучело, которое бы презирало русское слово, омрачало русский ум и унижало русского человека». «Благодарю, господа, — эмоционально заключал Сахаров, — что над моею головою не работала ни одна французская тварь. <...> Я не преклонялся ни перед одним сапожником-французом и не принимал от него наставлений, как презирать отца и мать, как ненавидеть родину <...>» [467, с. 905–906]. Тут бы и поставить точку, но, видимо, слишком глубоко запало в сердце автору офрануженное отношение русских к своему отечеству, и через несколько строк он снова возвращался к волнующей теме: «Было время, когда я слышал, как в городах и селах русские, наученные заморскими бродягами, с презрением говорили, что русский язык есть язык холопский, что образованному человеку совестно читать и писать по-русски, что наши песни, сказки и предания глупы, пошлы и суть достояние подлого простого народа <...>; что наша народная одежда (повязка, кокошник, сарафан и кафтан) <...> осуждены Европою на изгнание и носят на себе отпечаток холопства, вынесенного из Азии» [467, с. 910].

Нет сомнений, что галломания представляла собой одну из серьезных российских проблем, которой была озабочена значительная часть общества. Русской литературе, в свою очередь, прихо-

дилось вырабатывать свое отношение не только к галломании в общих ее чертах, но и к отдельным ее проявлениям. В том числе — и к слепому подражанию французским мнениям о России.

Вот приезжает из Парижа на родину молодой князь Корсаков, персонаж романа «Арап Петра Великого», и тут же замечает Ибрагиму: «Как я рад, <...> что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь делают, чем занимаются?» [442, т. 8, с. 14] В беловом автографе Корсакову принадлежала еще одна реплика: «Как ты варварски одет» [т. 8, с. 508]. А вот другой пушкинский персонаж — граф Нулин. Он тоже возвращается в Россию из Парижа, откуда везет вместе с французскими предметами туалета,

*С ужасной книжкой Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер-Скота,
С bon-mots парижского вора,
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера <...> —*

вместе со всем этим везет и французские представления о России. Это ясно, поскольку он «Святую Русь бранит, дивится // Как можно жить в ее снегах» [442, т. 5, с. 6–7]. Нечего и говорить, что оба пушкинских героя изображены в сатирическом ракурсе. Но пушкинская ирония ювелирна, а потому не вполне показательна. Обратимся к грубому и утрированному, но зато более характерному образцу — к «благонамеренной сатире» Булгарина.

Французомания была одним из тех российских пороков, о котором можно было писать, почти не опасаясь гнева властей. И уж тут исправитель отечественных нравов Булгарин, что называется, развернулся. В «Иване Выжигине» он обрисовал портрет некой русской княжны, которая была воспитана в Петербурге француженкою и потому «никогда не слыхала отечественного языка». В доме ее родителей, сообщает автор, «предпочтительно были принимаемы иностранцы, и молодая княжна от детства привыкла слышать, что русские варвары не способны ни к чему, как только к платежу оброка и мелочной торговле, а что только иностранцы люди, с которых русские должны брать пример, как жить в свете. Княжне натолковали, что русский язык может быть употребляем только между черным народом и что он так груб, что благовоспитанная дама может получить боль в горле от произношения остроконечных русских слов. Гувернантка княжны клялась, что

она целую неделю страдала зубною болью и опухолью языка от того, что силилась произнести слово *пощечина*, невзирая на то, что это так легко производить в действо над русскими служанками» [84, с. 155]. Вроде бы после такой живописной зарисовки даже неискушенному читателю должно стать ясным, что сатира направлена не просто на вымышленную барышню, а на множество русских дворян, пренебрегающих своей национальной гордостью. Но автор, не полагаясь на догадливость публики, проповедует мораль, формулировку которой вкладывает в уста, по мысли Булгарина, идеального русского помещика и патриота с предсказуемой фамилией — Россиянинов. «Поверять юношей безусловно на руки иноземцев, — говорит симпатичный автору помещик, — есть величайшая глупость наша, от которой произошло все зло для русского дворянства; от сего оно сделалось почти чужеземною колонию в России, не зная почти языка отечественного, ни обычаев, ни истории, приучившись с детства любить все французское и английское и презирать все русское» [84, с. 202]. Мысль вполне закончена и доходчиво выражена. Но автор, видимо, не удовлетворенный результатами своего нравоучения, возвращается к ней в очередном романе «Петр Иванович Выжигин», вышедшем через два года после «Ивана Выжигина», в 1831 г.

Действие романа отнесено к эпохе 1812 г. Описывая российское общество, автор не щадит французов и изображает их в свете незамысловатой и безопасной сатиры. Но на сей раз Булгарин отыскивает и еще один прием нравственного убеждения: он представляет читателю портреты бывших галломанов, раскаявшихся в своих антипатриотических заблуждениях, то есть Булгарин показывает на примере, как следует избавляться от порока *французолобия*.

Армия Наполеона вступает в пределы России, русские войска отступают. В связи с этим русский офицер, боевой товарищ Выжигина, князь Пречистинский, делится с соратниками плодами покаянного самоанализа. Он сознается в своем прежнем пристрастии к французам и поясняет: «Но в этом виноват не я, а родители мои и воспитатели; от них наслышался я, что кто желает быть образцовым светским человеком, тот во всем должен походить на парижанина; что русские — варвары, что язык наш не имеет даже слов для выражения утонченных чувств, общежительной образованности и политических дел; что хвалить русское принадлежит к дурному тону и проч. Может быть, я состарился бы в этом убеждении, если б опасность отечества не пробудила во мне

чувства собственного достоинства и не открыла глаз на прежние заблуждения». «Совершенная правда <...>, — подтверждал слова Пречистенского другой офицер, — я был такой же сумасброд, как и другие: не знал ни России, ни русского народа и все мерил французской меркою» [83, с. 107].

Булгаринские приемы, конечно, примитивны, но та последовательность, с какою он нападал на привычку российского дворянства мерить Россию «французской меркою», заслуживает внимания. Обратимся к 1826 г. Время следствия над декабристами было беспокойным — даже для Булгарина. Власти стали интересоваться его прошлым, и в частности, службой во французской армии. Не желая пускать дело на самотек, Булгарин решился проявить инициативу и заслужить доверие властей. И он стал сочинять «записки» начальству (в чем он, бывало, упражнялся и прежде), в которых излагал свои «правды»: сначала — о себе, а потом — обо всей России, а за одно — и о тех, кем власти могли интересоваться особо.

Что и говорить, задача перед писателем была не из легких. Нужно было, с одной стороны, сказать столько «правд», чтобы зарекомендовать себя искренним, а с другой стороны, подобрать такие «правды», которые выглядели бы вполне благонамеренно. В мае 1826 г. Булгарин отправил дежурному генералу главного штаба А.Н. Потапову «записку» «О цензуре в России и о книгопечатании вообще». Литератор характеризовал генералу российскую публику и высказывал ту «правду», что знатные и богатые читатели, «отданные с детства на руки французских гувернеров, под их руководством учатся только многим языкам, получают поверхностное понятие об истории и других науках». А вследствие того они «всех людей, даже китайцев, почитают французами, смотрят на все французскими глазами и судят обо всем на французский манер» [278, с. 239]. Оторванные от контекста, эти фразы, адресованные генералу, могут показаться, пожалуй, даже и смелыми. На самом же деле они несли в себе вполне верноподданнический смысл, поскольку метили не просто в «знатных и богатых», а в тех из них, которые, по формулировкам того времени, «заразились духом французского вольномыслия», полагали, будто в России, как во Франции, возможна революция, и вышли на Сенатскую площадь, восстав «противу правительства». То есть Булгарин излагал вполне «патриотическое» и лояльное объяснение декабрьских событий. Власти могли в этом обойтись и без его помощи, но все же «записки» Булгарина принимались благожелательно. А будущее показало, что Булгарин очень

точно почуял направление новой российской политики, основанной на принципах *православия, самодержавия и народности*, и верно определил, что этой политике будет неуютно применение к России французского взгляда на государство, на общество и т. д. Почему бы после этого Булгарину без опасений не высмеивать в «нравоучительных» романах российских французолубцев, которые меряют Россию «французской меркою»?

Что касается декабристов, то, пожалуй, в «записке» Булгарина, как и в официальной трактовке событий, содержалась доля правды. Обновленная Россия действительно виделась декабристами обустроенной «на манер» Франции и других цивилизованных государств. Правда и то, что некоторые из «бунтовщиков» могли примеривать к своему отечеству чисто французские оценки, а порой, может быть, и слишком французские. Это, например, явствует из воспоминаний парижанина Ипполита Оже, поступившего в 1814 г. на службу в русскую армию. Он весьма сдружился с будущим декабристом М. С. Луниным, но, по признанию Оже, друзья «на многое смотрели различно». Так, Оже не мог понять, «как это русский считал себя варваром, когда все в нем: умственное развитие, язык, манеры, привычки — служили опровержением этого мнения и свидетельствовали о существовании высокой, утонченной цивилизации» [368, с. 214].

Но мы не можем на основании подобных эпизодов делать выводы, скажем, о том, что воспитанное французами презрение к России послужило толчком для создания тайных обществ и спровоцировало восстание на Сенатской площади. Да, действительно, и В.Ф. Раевский, описывая в 1821 г. ужасы крепостного права, готов был заключить, что иностранцы имеют право «упрекать нас в варварстве». Но тот же Раевский в 1816 г. в «Послании к Николаю Степановичу Ахматову» подтверждал совершенно патриотическую позицию, когда писал:

*Колосс надменный пал! Европа в удивленьи
Зрит победителя, свободу и закон!
Благословляя мир, повсюду в восхищеньи,
Благословляет русский трон!
Так, юноша! гордись отчизною своею!
Спеши ей долг отдать, ее достойным быть!
И добродетельной стезею
Спеши полезным быть и славу заслужить*
[444, с. 63].

И дело не в том, что патриотическое настроение Раевского к 1821 г. исчезло. Когда он писал о крепостном праве, то, конечно, руководствовался соображениями о благе отечества, а не стремлением угодить иностранным мнениям. Да и М. С. Лунин, получивший двадцать лет каторги, конечно, не для того добивался переустройства России, чтобы оправдать французское мнение о ее варварстве. Дело в другом: в том, что у декабристов было *французское, европейское* представление о благе своего отечества. А это вовсе не совпадало с российской официальной позицией и далеко не всегда совпадало с позицией общественной. В борьбе правительства с идеологией декабристов родилась концепция трех основ государственности николаевской России: *самодержавие, православие и народность*. Все три принципа вытесняли возможность применения к России европейских стандартов. Но для широкой общественности можно было предложить более простую модель опровержения бунтарских идей. Ее и предложили: она заключалась в том, что декабристы до того офранцузились, что прониклись презрением к собственному отечеству и не имели ни малейшего представления о том, что необходимо для блага этого отечества.

Ситуацию декабристов попросту подверстали под давно существовавшую проблему галломании, которая выражалась в том числе и в презрении галломанов к России, и в критике «на французский манер» своего отечества. Это было тем более удобно, что в русской литературе недоброжелательство к своей родине, проистекающее из слепого подражания французам, не только высмеивалось (как мы наблюдали у Пушкина), но и патетически осуждалось. Так, в 1830 г. Д. Струйский (Трилунный) опубликовал отрывок из поэмы «Картина», где сурово нападал на галломанов:

*Отродье глупых обезьян!
Полуфранцузы, пустомели
Без размышленья и без цели,
По праву лестному бояр,
Наследственный снедают дар
Своей признательной отчизны,
Но даже искры к ней любви
Не тлеет в хладной их крови!
Живут тяжельми трудами
Полезных обществу людей,
Считая их за дикарей.
Душой, ужимками, словами*

*Они святую Русь срамят.
И что же? Они же, обезьяны,
С улыбкой пошлой и жеманной
Отчизну в варварстве винят!*

[434, т. 2, с. 232]

Парадоксально, что и сам Булгарин легко попадал в число хулителей отечества «на манер иностранцев». Он, понятно, не мог быть заподозрен в революционных мыслях, но зато, скажем, его нападки на А. С. Пушкина расценивались как пример предвзятой критики, проистекающей из презрения к российской славе. В 1830 г. С. П. Шевырев в «Послании к А. С. Пушкину», имея в виду болгаринские выпады против поэта и связывая их с польским происхождением Фаддея Венедиктовича, рассуждал в том смысле, что сила русского языка создана вовсе не для того,

*<...> Чтоб ругал заезжий иностранец,
Какой-нибудь писатель-самозванец,
Святую Русь российским языком
И нас бранил и нашим же пером*

[434, т. 2, с. 193].

Со временем подобный упрек, поначалу направленный «заезжим иностранцам» и галломанам высшего круга, мог адресоваться и западникам, позиция которых в примитивной трактовке зачастую расценивалась как следствие все того же рабского подражания Западу. На этой мысли особенно настаивал в 1844–1845 гг. Н. М. Языков. 6 декабря 1844 г. он написал известное обращение «К ненашим». Стихотворение носило оскорбительный характер по отношению к московским западникам, выглядело как донос и вряд ли могло быть воспринято однозначно даже соратниками автора — славянофилами. Тем не менее в определенной мере оно, конечно, отражало логику славянофильского неприятия западнической позиции. В соответствии с этой логикой, западники подходили к России с *чужой*, европейской меркой и вследствие этого толкали ее на ложный путь развития. Языков прямо обвинял «ненаших» в предательстве:

*Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,*

*Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны.*

<...>

*Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык [575, с. 351].*

Между московскими западниками и славянофилами неоднократно возникали попытки примирения, но Языков оставался непреклонным противником «предательских мнений». В его послании «Константину Аксакову» (20 декабря 1844 г.) звучал откровенный укор за терпимость в отношении к идейным противникам:

*Дай руку мне! Но ту же руку
Ты дружелюбно подаешь*

<...>

*Тому, кто нашу Русь злословит
И ненавидит всей душой
И кто неметчине лукавой
Передался. — И вслед за ней,
За госпожою величавой
Идет, блистательный лакей...*

[575, с. 352–353]

Характерно, что гнев Языкова вызывают даже не зарубежные критики России, а свои, отечественные «хулители» родины, изображенные бескомпромиссным славянофилом Языковым как отступники, принявшие западный взгляд на Россию. 25 декабря 1844 г. поэт снова обрушивался на одного из «отступников», на сей раз выбрав П. Я. Чаадаева:

*Почтенных предков сын ослушный,
Всего чуждого гордый раб!*

<...>

*Как не смешно, как не обидно,
Не страшно нам тебя ласкать,
Когда изволишь ты бесстыдно
Свои хуленья изрыгать*

*На нас, на все, что нам священо,
В чем наша Русь еще жива.
Тебя мы слушаем смиренно;
Твои преступные слова
Мы осыпаем похвалами... [575, с. 354]*

Определенно, никто из славянофилов и их сторонников не был способен сравниться с Языковым в разнообразии проклятий, посылаемых на голову «предателей»-западников. В декабре 1844 г. профессор С. П. Шевырев в Московском университете начал чтение лекций, которые пропагандировали славянофильский взгляд на отечественную историю и литературу и были «славянофильским» ответом на пользовавшиеся популярностью «западнические» лекции Т. Н. Грановского. Лекции Шевырева нашли своих критиков из лагеря западников, а эти критики, в свою очередь, нашли своего обличителя в лице Языкова. Обращаясь к Шевыреву, поэт восклицал:

*Твои враги... они чужбине
Отцами преданы с плен;
Русь негодна их гордыне,
Им чужд и дик родной закон,
Родной язык им не понятен,
Им безответна и смешна
Своя земля, их ум развратен,
И совесть их прокажена [575, с. 357–358].*

Опровергая языковские обвинения, можно было бы заявить, что ни Грановский, ни Чаадаев, ни Герцен, ни многие другие западники, в которых метал проклятия возмущенный поэт, не были изменниками отечества, да и совесть имели вовсе не «прокаженную». Это очевидно теперь — с позиций времени. Но это было очевидно и для большинства современников — даже из лагеря славянофилов. Языков в своих гневных посланиях допустил ту же ошибку (не хотелось бы говорить: использовал тот же прием), что и противники декабристов: уравнил идеологическую программу, ориентированную на западный социально-политический опыт, с банальной галломанией. А потому и получалось, что люди, выстрадавшие свои убеждения, основавшие их на исторической логике и очевидности, поставившие во главу угла благо отечества, преобразались под пером Языкова в отступников и изменников, слепо привязанных к «нехристи немецкой» и французскому тщеславию, приучающему русских презирать свое отечество.

Но для нас важно, что гнев Языкова был вызван именно условиями имагологического дискурса. Поэт отчетливо уловил, что в русско-французской литературной, публицистической и идеологической полемике по поводу имиджа России участвуют не две стороны, а, по крайней мере, — три. Это происходило оттого, что в российском обществе и в русской литературе существовал рас-

кол, вызванный различием исходных точек в восприятии России. Западники и славянофилы перед лицом европейских мнений о России зачастую оказывались вовсе не союзниками, готовыми противопоставить европейской рецепции единый отечественный идеологический фронт, они оказывались оппонентами, каждый из которых создавал свой образ России, свое представление о ее прошлом и будущем. В русской литературе кипела напряженная борьба мнений о России, и борьба эта была тем более острой и запутанной, что обеим сторонам приходилось постоянно ощущать присутствие и влияние серьезной «внешней силы» — европейского (в первую очередь, французского) мнения о России. Иные из рядовых борцов абсолютно отвергали справедливость этого мнения, другие признавали его справедливость, но лишь отчасти, кто-то мучительно менял свое отношение к европейскому взгляду на Россию, а кто-то слепо и навсегда подчинялся ему. В контексте нашего разговора особое значение приобретает вывод, что имидж России в русской литературе формировался с учетом и под воздействием французской и вообще западноевропейской рецепции России. Французский текст о России был не просто источником фактографической информации, он являлся особой сферой осмысления российской действительности, и итоги этого осмысления (порою как продуктивный материал, а порою как рубеж отталкивания) использовались русской литературой в процессе формирования национального представления о России.